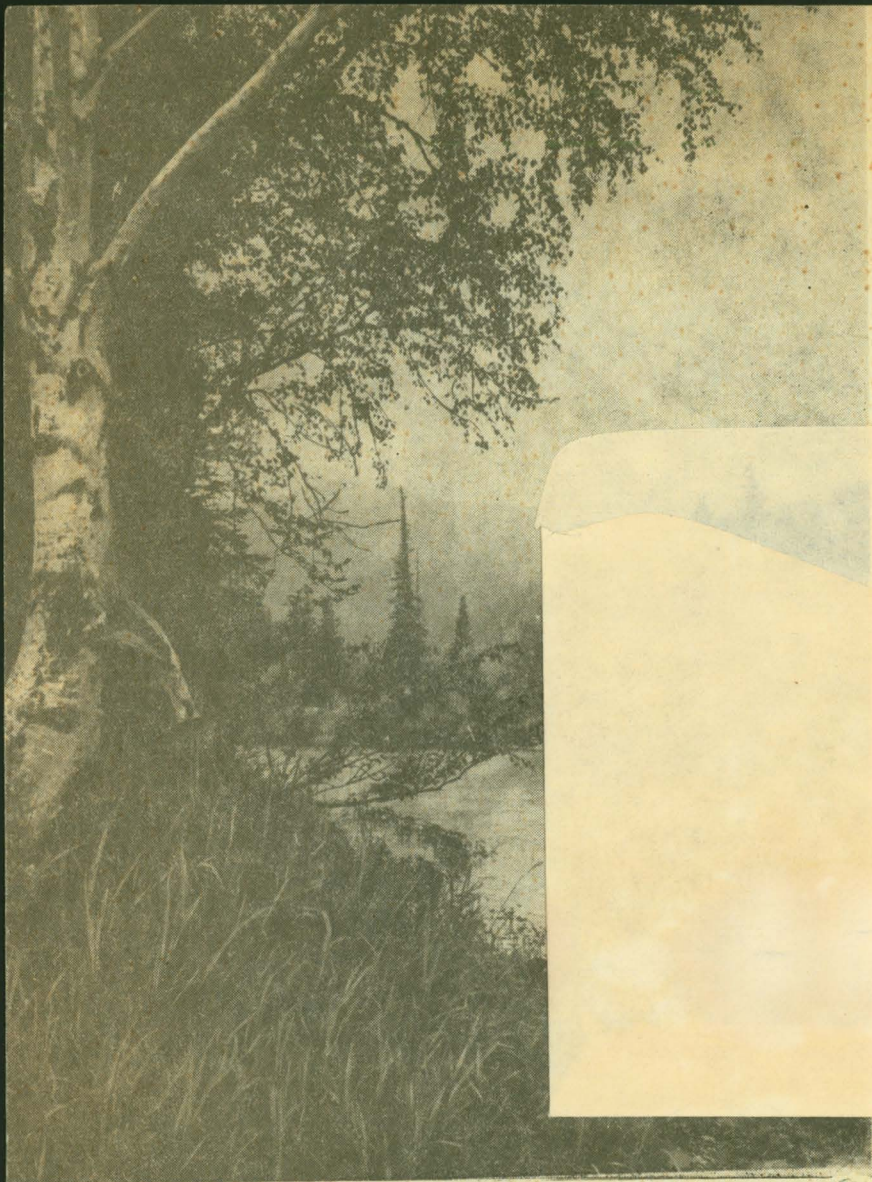


0-38
325508



ОГНИ
КУЗБАССА

№2(39) 1973



В верховьях Кии

«Говорят, что у каждого человека должна быть своя Волга. Любимой, родной рекой становится Кия год от года все большему числу людей... Не только за горную и таежную экзотику, за неповторимые рыбацкие зори любят реку местные жители.

В верховьях Кия моет для них золото и доставляет из глубины тайги лес. В среднем течении питает водой десятки населенных пунктов и крупные предприятия пищевой промышленности. На дне широких синих плесов нерестится в реке обская нельма. А в низовьях, на Колеульских, Туйлинских и Окуневских песках и ямах нагуливают вес могучие двухпудовые осетры и шустрая стерлядь».

О проблемах, связанных с Кией, о врагах ее и друзьях вы узнаете из очерка Александра Зайцева «Держись, Кия!», публикуемого в этом номере альманаха.

Год издания 25-й

№ 2 (39)

**ОГНИ
КУЗБАССА**

**ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН
КЕМЕРОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР**



390320

**П Е Р В Ы Й
Э К З Е М П Л Я Р**

**Кемеровское
книжное
издательство**

В н о м е р е

Серьезный разговор (С собрания кузбасских литераторов) 3

СТИХИ

Из шорского фольклора

«Разум — тот же океан безбрежный...»,
«Дорог соболь...», «Незнающий тысячу слов говорит...» 6
Виктор Баянов. Поле. (Венок сонетов) 7
Павел Майский. «Снова жить бы начать...», «Грибное лето на исходе...», «Горит огнем рябина золотая...» 38

ПРОЗА

Гарий Немченко. ОЗЯБИШИ МАЛЬЧИК. Рассказ. 15
Владимир Власов. ПОЛЕТ НА СБРОС. РАЗРЕШЕН. Рассказ. . . 39

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Александр Зайцев. ДЕРЖИСЬ, КИЯ! 49
Готовится к печати «Труженица Томь». Г. Юрова. 63

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ...

Борис Головин. В СТРАНЕ СВЯЩЕННОГО КЕДРА 64

Редактор
В. М. МАЗАЕВ

**Редакционная
коллегия:**

**А. Ф. Абрамович,
Е. С. Буравлев,
А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов,
Н. Н. Зеленин,
В. В. Махалов,
О. П. Павловский
(отв. секретарь)**

Адрес редакции: 650099
Кемерово, Советский пр., 94.
Тел. 6-85-14.

Рукописи объемом до одного
печатного листа не возвраща-
ются

Обложка В. КЛИМОВА

0 $\frac{0732-19}{M145(03)-73}$ —32—73

(С) Кемеровское книжное из-
дательство, 1973 г.

**ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ...
РАССКАЗАЛ...**

Маврикий Резник. НЕУДАВША-
ЯСЯ ОХОТА. 70

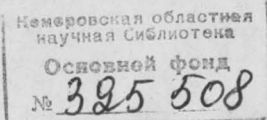
СЛОВО — КРИТИКЕ

Инна Тимошенко. О ВРЕМЕНИ
И О СЕБЕ. Заметки на полях трех
повестей 72

**ЛИТЕРАТУРНАЯ
УЧЕБА**

Игорь Ринк. БОИ, КОТОРЫЕ
НЕ СОСТОЯЛСЯ 81

Литературная хроника . . . 87



Ведущий редактор Т. И. МАХАЛОВА
Художественный редактор Г. И. КРАВЦОВ
Технический редактор Г. В. АДОВА
Корректор Е. И. Тимошук

Сдано в набор 28.II.1973 г. Подписано к печати
21.V.1973 г. Формат 70X90/16 Бумага типограф-
ская № 12 Усл. п. л. 7,7 Уч. -изд. л. 7,27 Тираж
5000 ОП00689. Заказ 1849 Цена 27 коп.

Кемеровское книжное издательство Кемерово, Ног-
радская, 5. Полиграфическое объединение «Томь»
Кемерово, Ноградская, 5

Серьезный разговор

(С СОБРАНИЯ КУЗБАССКИХ ЛИТЕРАТОРОВ)

Не всегда сбываются приметы. Вот и минувший високосный год, о котором в народе говорят, что «худ приплод в високосный год», для кузбасских писателей оказался вполне «урожайным» годом.

В 1972 г. только Кемеровское книжное издательство, — а книги литераторов Кузбасса выходили еще в Москве и Новосибирске, — выпустило в свет повести Г. Емельянова «Далекие города», В. Махалова «Высокая грива», О. Павловского «Не оглядывайся, сынок!», Г. Блинова «Операция «Бременские музыканты», сборник рассказов В. Власова «Завтра связи не будет», документальную повесть В. Рехлова о Михайле Волкове, литературные портреты А. Срывцева «Свидание», поэтические сборники Е. Буравлева «Шестая гряда», В. Байнова «Лирика», М. Небогатова «Спасибо сентябрю», П. Майского «Сарбалинская рапсодия», Г. Гаденова «В краю тридцати елок».

Об этих книгах, о писательском мастерстве, о работе редколлегии альманаха «Огни Кузбасса» и задачах Кемеровской писательской организации в свете последних постановлений партии и правительства и шла речь на расширенном собрании кузбасских литераторов, которое состоялось в январе нынешнего года.

— Думаю, что цель нашего сегодняшнего разговора, — сказал, открывая собрание, ответственный секретарь Кемеровской писательской организации Владимир Мазаев, — не раздача всем сестрам по серьгам и не выведение оценок по пятибалльной системе. Все мы знаем, как растерянню иногда чувствуешь себя, как трудно снова браться за перо, когда твоя публикация не находит отклика — положительного или критического. А ведь многие наши книги до сих пор не получили развернутой оценки в печати или попали под огонь критики, которая напоминает артиллерийскую стрельбу «по площадям». Хотелось бы, чтобы сегодня были стерты белые пятна и по возможности скорректированы отдельные критические выступления.

Этот призыв не остался втуне. Писатели глубоко и заинтересованно говорили о творчестве своих коллег, вышедшие книги разбирали по самому крупному счету. Писателям Кузбасса недостает еще смелости и раскованности, в их произведениях заметна неуверенность в себе, в своих силах. Иногда это идет от неумения, от недостаточного профессионального мастерства и недостаточной требовательности к себе.

Высокую оценку на собрании получил сборник стихов Виктора Байнова «Лирика», в котором, как и в других сборниках поэта, с до-

статочной полнотой нашла свое выражение чудесная природа России, как отметил в своем выступлении Геннадий Юров, искренняя, точная интонация стихов В. Баянова сделала их популярными, созвучными эстетическим воззрениям как сельских жителей, так и горожан, испытывающих постоянную тягу к «травам росным», к «реке талиновой», к крестьянскому, земледельческому быту — началу всех начал. Вместе с тем отмечалось, что рецензентам и критикам, разбиравшим стихи В. Баянова в газетах и журналах, зачастую был присущ чересчур умильный тон, глубинные процессы его творчества проходили мимо внимания критиков, которые не заметили даже, что поэт замолчал, что в его двух последних книгах — «Лирика» (Кемерово) и «Томь-река» (Москва) — почти нет новых стихов. Только в рецензии Т. Шатской, опубликованной в газете «Кузбасс», прозвучала настоящая тревога и озабоченность судьбою поэта.

Корни творчества Михаила Небогатова, который в минувшем году представил на суд читателя новую книгу «Спасибо сентябрю», так же, как и у Баянова, — в сельской родной природе. Отличает его умение видеть за обычным фактом целую систему общественно значимых явлений. Причем ассоциации поэта очень светлые, построенные по принципам красоты и доброты, что особенно зримо проявилось в стихотворении «Прохожий».

Однако «Спасибо сентябрю» все-таки проигрывает в сравнении с предыдущим сборником поэта «Свет в окне». Недостаточно взыскательно подобраны стихотворения, открывающие книгу. Разрушает цельное впечатление обилие переводов, эпиграмм, пародий, которые выглядят довеском, органически не связанным с главными мотивами сборника.

Немало добрых слов было сказано на собрании в адрес Евгения Буравлева, итоговый сборник которого «Шестая гряда» явился как бы поэтическим осмыслением рабочей истории Кузбасса, книгой с острым чувством времени.

Верно понятое чувство долга, ответственности перед своей и рабочей юностью не давало ему сфальшивить, уклониться от решения сложных вопросов. Оно проявляется в стихах о работе, в философских циклах, в поэмах «Закоперщица» и «Первая плавка», в политических стихах, где Буравлев подчеркивает свою позицию, поэта-гражданина, поэта-коммуниста.

Критическому анализу подверглись также сборники стихов молодых поэтов Павла Майского и Геннадия Гаденова.

Если поэзия — своего рода «разведка», непосредственный отклик души и сердца, то ударной силой в художественной литературе по праву считается проза, и потому участники собрания, в свою очередь, сосредоточили на ней основной «артиллерийский огонь».

«Повесть о Михайле Волкове» В. Рехлова второй раз вышла к читателю, и, как отметил Валентин Махалов, выход этот вполне заслужен. Писатель в лице рудознатца натолкнулся на интереснейшего героя, на богатейшую жилу в истории нашего сибирского края. Однако, накопив и осмыслив большой и сложный исторический материал, автор

зачастую сознательно сужает рамки повествования и почти не делает никаких попыток отвлечения от магистральной линии, заданной себе спервоначала. В повествовании чувствуется постоянное ратоборство документа и вымысла, и чаще всего эта борьба оканчивается в пользу первого.

Двойственное впечатление вызвала книга А. Срывцева «Свидание». Написана она равнодушным и весьма уверенным пером, а вот должной значимости не обрела. Кажется чересчур субъективными оценки автором творчества того или иного литератора, оценки, не отработанные временем, а покоящиеся в основном на базе сугубо личного восприятия.

Выступавшие говорили также о том, что хотелось бы видеть на страницах будущих книг А. Срывцева не только и не столько ушедших от нас литераторов, но и живущих и творящих ныне, и особенно хотелось бы почувствовать на этих страницах хотя бы малый привкус нашей родной кузнецкой земли.

Порадовал писателей выход сборника рассказов геолога Владимира Власова под названием «Завтра связи не будет». Первая проба молодого литератора показалась весьма и весьма обнадеживающей. Не все удалось автору с художественной точки зрения, но во всех десяти рассказах состоялась жизнь. А это на первом этапе творчества имеет немаловажное значение.

В. Мазаев, З. Чигарева и другие в своих выступлениях отметили добротность и естественную лиричность повестей «Высокая грива» В. Махалова, «Не оглядывайся, сынок!» О. Павловского, «Далекие города» Г. Емельянова, занимательность повести для детей «Операция «Бременские музыканты» Г. Блинова.

С обстоятельным детальным анализом четырех номеров альманаха «Огни Кузбасса», вышедших в 1972 году, выступил Геннадий Блинов.

Современность, человек сегодняшнего дня — вот одна из главных задач, стоящих перед редколлегией альманаха. И в этом плане следует особо приветствовать рубрику «Проблема?.. Да, проблема». Страстно и горячо написанные очерки Петра Ворошилова «Будних дней черновики» и Нины Спириной «Преданность заводу. Откуда она?» вызывают читателя на глубокие раздумья. Но ограничиваться только проблемными материалами нельзя. Нужны очерки о героях пятилетки, о духовном мире нашего современника. А в 1972 году ни одного очерка о тех, на кого равняются другие, в альманахе не было. Чаще следовало бы печатать очерки о людях старшего поколения, как, например, очерк Максима Рыжкова «Самсоныч», написанный убедительно и взволнованно.

Геннадий Блинов подробно проанализировал напечатанные в альманахе повести В. Чугунова «Рубиновый материк», В. Моисеева «Ярыгин камень» и другие произведения.

При обсуждении участниками собрания были высказаны претензии к редакциям областных газет, занявших по отношению к альманаху весьма странную позицию. В публикуемых рецензиях и статьях почти не встречается добрых слов. О положительных публикациях говорит-

ся робко, скороговоркой, зато слабым, с точки зрения рецензента, вещам учиняется подлинный разнос без достаточного критического анализа.

В заключение собрания В. Мазаев проинформировал писателей о состоявшемся в г. Москве совещании ответственных секретарей писательских организаций России.

Из шорского фольклора



Разум — тот же океан безбрежный,
Все собой охватывает он.
Знание — зубец вершины снежной;
Поднимись хотя б на нижний склон.



Дорог соболь и куница — тоже;
Мех красив, и добыт он с трудом...
Но беседа умного — дороже.
Приглашай лишь умного в свой дом.



Незнающий тысячу слов говорит,
И все они пусты невольно.
А знающий словом одним подарит,
И этого будет довольно.

Перевод Геннадия СЫСОЛЯТИНА

ПОЛЕ

Венок сонетов

1

Родное поле видеть мне дано,
Прохладное, в рассветной росной дрожи.
Есть поросистей — но мое одно.
Есть потучней — но тем мое дороже.

Оно не блещет редкой красотой.
Пусть!

Праздным взморьям, что подобны раю,
Как женщине красивой, но пустой,
Я никогда души не доверяю.

Над полем воздух терпок и упруг.
Вдали чуть слышен крик перепелиный.
Комбайн здесь скоро проплывет, как струг,
Расколет тишину по-над долиной.

Родное поле! Погляжу вокруг —
Какою веет широтой былинной!

2

Какою веет широтой былинной!
Густые волны — с севера на юг.
Но вот откуда горечью полынной,
Заставя вздрогнуть, потянуло вдруг?

Откуда? Нет полыни по соседству,
Хлеб предо мною ясный и резной.
Издалека, наверное, из детства,
Украденного прошлою войной.

Я пел уже про были те и боли...
И все же повториться не грешно —
Желаю людям не познать той доли,
Чужим, своим ли близким — все равно.

Да пусть меня простит родное поле:
Как блудный сын, я не был здесь давно.

3

Как блудный сын, я не был здесь давно.
Успею, мол. А время поспешает.
Все нахожу причины — то одно,
А то другое вроде бы мешает.

Кавказ манит, Карпатский ли отрог...
Ведь кто-то же сказал, обдумав строго, —
От мест родных уводят сто дорог,
К родным местам — всегда одна дорога.

Но отовсюду край я видел свой,
Себя — в ложбине с буйною малиной.
И где-то высоко над головой
Строй журавлей — пунктирный, остроклинный...

Да, я с тропинки этой полевой
Давно не слышал клекот журавлиный.

4

Давно не слышал клекот журавлиный,
И в небо зря смотрю из-под руки.
Быть может, у земли их окрик длинный
Забили тепловозные гудки?

Иль гнезда, свои тихие жилища,
Они давно перенесли туда,
Где мир поглуше да вода почище,
Обильней журавлиная еда?

Как им сказать, какое слово выдать,
Чтоб поняли они до одного,

Что люди не желают их обидеть,
Что сердцем не черствы...
Вот оттого

Над полем журавлиный клин увидеть
Мне хочется теперь сильнее всего,

5

Мне хочется теперь сильнее всего,
Дождавшись срока, не жалея пота,
Убрать до колоска до одного —
Почетнейшая испокон работа.

Чтоб в битве за бесценное добро,
Напоминая годы огневые,
Как «От Советского информбюро...»,
В страду звучали сводки полевые.

Чтоб неотрывно, по ночам и днем,
Бессонный штаб следил за обмоломом.
Чтобы машины с тяжким тем зерном
Пылили по полям, по всем широтам.

...Хлеб колосится. Думайте о нем,
Не отдаваясь мелочным заботам,

6

Не отдаваясь мелочным заботам,
Родное поле славить мы должны.
И за глухим не прятаться заплотом,
Забыв, откуда на столе блины.

Конечно, бестревожней, скажем прямо,—
Лежать, раскрыв дешевый детектив.
Иль спорить днями, почему «Динамо»
Играет лучше, чем «Лескомотив».

А тучи надвигаются, как дюны,
Как... К черту краски все! Не до того.

Сейчас те тучи б с небосклона сдунуть,
Отвесь беду от поля моего.

Ну что бы сделать, что бы мне придумать,
Чтоб градом не повыбило его,

7

Чтоб градом не повыбило его,
Я, если мог, прикрыл бы осторожно.
А был бы бог, добрался б до него —
При современной технике не сложно.

Взревел бы: — Слушай! Хлеб губить нельзя.
Пусть грешен я, но ты грешнее втрое...
И имя бога помянул — не лстя,
Так, как в сердцах срывается порою.

Но легче ли от выдумки смешной...
Сливаясь где-то с темным небосводом,
Волнуются хлеба передо мной,
Чуть тронутые золотым налетом.

Не выжгло их, на счастье, в долгий зной,
Не затинуло сорняком осотом —

8

Не затинуло сорняком осотом.
Чисты вокруг ложбинки и мысы.
Рожь кланяется с важным разворотом,
Топыря густо колкие усы.

Отрадное, ухоженное поле!
В его прибое глохнет шум шагов.
Так вешняя река, почуя волю,
Кипит, ярится, прет из берегов.

Не оторвать восторженного взгляда
От буйства, от бескрайности такой.

Вот — ветерок, а с ветерком — прохлада:
Недалеко река, подать рукой.

Но песню мне сложить о поле надо,
О нем, не о прохладе над рекой.

9

О нем, не о прохладе над рекой
Слагаю песню — нету лучшей доли.
Вот только получилась бы такой —
Прекрасной и простой, как это поле.

Чтоб приняли ту песню как свою
В застолье шумном, в шумном ли вагоне.
Чтобы ее в моем родном краю
Запели все вечерние гармони.

Гармони уведут ее во тьму,
В приречные туманы пеленая.
Теплее станет сердцу моему:
Ведь им она — своя, а мне — родная.

Без песни жизнь — не в жизнь. И потому
Пою, слова заветные роняя.

10

Пою, слова заветные роняя.
Не прячу песню кралей в терему,
В который только я лазейку знаю,
А больше нету хода никому.

Опустошу и снова пополняю
Метафор да эпитетов суму.
Подтачиваю слово, подгоняю,
То вытяну строку, а то — ужму.

Не все слова моей послушны воле,
Но радует сей труд, как никакой.

Я буду петь о том, как рос не в холе,
О красоте и доброте людской.

А вот сегодня я пою о поле,
Не лгу ему ни словом, ни строкой.

11

Не лгу ему ни словом, ни строкой,
Поскольку сам, как людям, верю слову.
Лгать — в пашню нерадивую рукой
Бросать весной не зерна, а полову.

Я сизмальства запомнил свойство слов:
Коль искренни — их мощь неодолима.
Вот почему, как некий рыболов,
Поймав ерша, не говорю — налима.

Степная ширь все чище, все ясней,
Прозрачней, чем стеклянный полдень мая.
И марево слегка дрожит над ней...
Любуюсь жизни праздником. И знаю —

Не станет поле русское темней,
Когда угаснет песнь моя земная.

12

Когда угаснет песнь моя земная...
Нет! Не о том задуматься пора —
Мне б, слово-семя в души зароняя,
Взрастить побольше стебельков добра.

Да выжили б они, когда обнимет
Зима буранной завертью крутой.
И дали бы такой же тучный вымет,
Как рожь на этой ниве золотой.

Лежу во ржи, легко раскинув руки.
Холмы, темнея шерстью травяной,

Приняв на спины облачные выюки,
Обходят ниву, тянут стороной.

Мне хорошо. Глуша земные звуки,
Пусть поле золотится надо мной.

13

Пусть поле золотится надо мной.
Ему я вью венок своей поэмы.
И не боюсь, что критик записной
Вновь упрекнет меня за узость темы.

Не стану хныкать, проклинать житье,
Вот-де опять досталось на орехи.
Ведь так от века — каждому свое:
Кому пахать, кому искать огрехи.

И все ж, друзья, давайте жить светло,
Друг другу бед, обид не причиняя.
И делать все, чтоб рассыпалось зло,
Не омрачалась дружбы даль сквозная.

Чтоб поле наливалось и цвело,
Тяжелые колосья наклоняя.

14

Тяжелые колосья наклоняя,
Уже держать себя не в силах рожь.
Ты слышишь, ветер? По свету гоняя,
Крутись где хочешь, поле — не тревожь.

Эй, кто там скачет? Выбирай дорогу!
Ты слышишь, всадник? Или ты ослеп?
По жемчугу скачи — смолчу, ей-богу,
По золоту — смолчу. Но это — хлеб!

С ним никакая не страшна остуда,
Задорней свадьбы, праздничней вино.

Синей, ясней небесная полуда,
Приветливее каждое окно,

Безмерно буду счастлив я, покуда
Родное поле видеть мне дано.

15

Родное поле видеть мне дано.
Какою веет широтой былинной!
Как блудный сын, я не был здесь давно,
Давно не слушал клекот журавлиный.

Мне хочется теперь сильнее всего,
Не отдаваясь мелочным заботам —
Чтоб градом не повыбило его,
Не затинуло сорняком осотом.

О нем, не о прохладе над рекой,
Пою, слова заветные роняя.
Не лгу ему ни словом, ни строкой.
Когда угаснет песнь моя земная,

Пусть поле золотится надо мной,
Тяжелые колосья наклоняя.

ОЗЯБШИЙ МАЛЬЧИК

РАССКАЗ

То ли из-за холодов, то ли потому, что рейс этот последний, народу в автобусе почти не было, лишь несколько человек сидели на передних местах, постукивали ногами.

У меня были большой чемодан и пузатая сумка, и я пошел назад, чтобы поставить все это там, где вещи мои никому не помешают, и тут его и увидел: сжавшись, он одиноко сидел на заднем сиденье — руки засунуты в карманы, и локти чуть-чуть расставлены и будто приподняты вверх, козырек надвинут на глаза, голова, туго обтянутая верхом кепки, опущена, уши оттопырены, ткнулся в грудь подбородком, а воротник торчит, шея голая... И сесть где придумал, у самой задней двери, а она плотно не прикрывается, щель такая, что запросто можно просунуть кулак... сидит, нахохлился, бездомный воробей, да и только!

Я определил свои чемоданы, устроился на сиденье над задним колесом, там, где два кресла стоят одно напротив другого, обернулся к нему:

— Садись хоть чуть поближе, а то совсем замерзнешь!

Он охотно перешел, сел напротив. Щупленький мальчишка, совсем худерба. Подбородок остренький, и нос тоже маленький и острый, глаза хорошие, внимательные. Лет, наверное, одиннадцать мальчишке.

— Холодно небось?

— Холодновато...

— А чего это ты так поздно надумал ехать?

Он как-то по-взрослому сказал:

— Да вот пришлось.

И тут же пристукнул зубами, нарочно задрожал, прогоняя холод.

— А ты разомнись, пока стоим. Зарядочку быстренько — раз, два!

— О-о! — сказал он, пытаясь слегка приподнять одну руку и нарочно морщась лицом. — Не получится у меня зарядка... До сих пор все тело гудит.

— Чего это оно у тебя гудит?

— После тренировки.

Пошел разговор:

- Во-он как! А чем занимаешься?
- Боксом, дядь.
- Ну, ты молодец. И давно уже занимаешься?
- Третий год.
- А сколько тебе?
- Вот двенадцать было.
- И правда молодец.

Автобус уже тронулся, катил теперь по освещенным улицам, поворачивал, притормаживая, и за полузамерзшими стеклами подрагивали и смутно расплывались огни — то белые, от далеких уличных фонарей, а то зеленые и синие — от рекламы. Как ни всматривался, я не узнавал мест, по которым ехал, и только потом вдруг понял, что автобус идет другой дорогой и как раз сейчас мы будем проезжать мимо нашего дома.

Меня словно какая-то сила подяла с места, толкнула к затянутому морозом окну на противоположной стороне, но было уже поздно, машина снова поворачивала за угол, и я только туда и сюда торопливо повел головой, а потом, придерживаясь то одной, то другой рукой за спинки кресел, вернулся на свое место, присел, и оттого, что я не успел проводить взглядом свой дом, на душе у меня вдруг стало очень тревожно. Как будто это было очень важно: успеть.

Странно, совсем недавно я ездил чаще и ездил куда как дальше, хотя бы потому, что ко всем маршрутам каждый раз мне надо было прибавить еще и путь от Сталегорска до Москвы, откуда у нашего брата начинаются почти все дороги, но вот поди ты: никогда раньше я не уезжал из дома с таким быющим сердцем, как теперь. Может быть, уже давал себя знать возраст? Или это было что-то другое, связанное все с тем же — с переездом из Сибири, где я прожил больше десятка лет, с возвращением сюда, на Северный Кавказ. На мою родину.

Тут творилось со мной что-то непонятное.

Жили мы теперь в довольном собою чудесном маленьком городке, который утонул в зеленой и теплой котловине у подножия недалеких гор с розовато-синими пиками. Во всякое время года был этот городок хорош до того, что при ощущении красоты его тонко щемило сердце.

Меня, не знаю почему, особенно трогали удивительные его, давно исчезнувшие в больших городах необыкновенной чистоты запахи. То зимою, когда черную наготу каштанов да ясеней прикроет первозданной белизны снег, среди легкого морозца уловишь вдруг витающий над пивным заводом сытый парок ячменного солода. То весной, когда промчится гроза и улетающий вслед за ней прохладный ветер рассыплет на мых улицах крошечные лепестки отцветающих вишен, ты поймешь вдруг мятное пряничное тепло, плывущее из раскрытых окон кондитерской фабрики. Летом сладкий дух древней «изабеллы» будет покачивать на себе горячие дымки шашлыков, а осенью, когда закаты цвета молодого вина поблекнут, вечерняя сырость остро пропахнет первой прелью да горьковатым куревом окраинных костров, на которых сжигают бурьян и палые листья.

Чего, казалось бы, надо, живи теперь да живи, но меня то мучила тоска, то одолевали страхи и неуверенность.

Сначала я относил все это за счет нашего неустройства на первых порах и неизвестности с жильем да со всем таким прочим, но потом, когда все более или менее утряслось, переменчивое настроение меня не покинуло, спокойствие так и не пришло.

Казалось, все бывало хорошо, но вот в умиротворение зимних сумерек врывается грохот прокатного стана. Городок, замерший у синих предгорий, словно молнии, озаряли красноватые сполохи плавки, и мне вдруг нечем становилось дышать. Или убаюкивающее тюрюканье сверчков в осеннем саду родной моей станицы неожиданно взрывал тысячеголосый крик и вслед за ним слышался хрусткий удар шайбы о промерзший борт хоккейной коробки, и я крепко зажмурился, кривил лицо, как от внезапной боли.

В такие минуты все эти благодатные запахи игрушечного городка я бы, не раздумывая, отдал за то, чтобы не в воображении, а наяву лишь на секунду ощутить тот самый аромат, который ты вдруг уловишь, когда моторная лодка будет похлестывать днищем о перекаат еще за тридцать километров от очистных за нашим поселком.

Необычные для юга холода и небывалый снег этой зимы я принял как дружеский привет издалека, и долгие метели были для меня словно старый и надежный союзник, одна мысль о котором прибавляет сил.

В скверике, в центре города, однажды я увидел покрытую куржаком сосну и вдруг остановился как вкопанный и замер. Было синее, с колким морозцем утро, и освещенная ранним солнцем пышная крона с блестящими инея на концах веток показалась мне вдруг хорошо знакомой, и знакомыми были и две растущие рядом березки, и смутные очертания кустарника чуть поодаль. Пройти еще самую малость, и начнется молодой осинничек с развалом лосиных следов посередине и с петлями заячьих набродов, а за ним тебе откроется внизу узкий и длинный лог с тугими гривами пихтача на крутых взлобках, и там, в самой горловине его, у ручья совсем почти незаметное издали зимовье дяди Саши Тимакова, и высокие сопки над ним, и бескрайняя тайга, и дальние гольцы...

Я постоял еще немножко и пошел вбок, туда, где тянулась широкая, со скамейками по бокам аллея, и ни разу не оглянулся, и ни разу больше не приходил сюда, словно боясь обмануться, но всегда теперь помнил, что есть одно такое местечко, куда я, может быть, еще приду, если станет мне совсем плохо.

До сих пор я был легок на сборы, но здесь любая поездка, даже самая близкая, стала для меня вдруг проблемой и, собираясь, я нервничал, и, пожалуй, в последние день-два надоедал своим домашним настолько, что, провожая меня, они еле сдерживали вздох облегчения. Так и нынче.

У порога жена подбадривала меня взглядом, ей хотелось, чтобы напоследок в окружении троих наших ребятешек я увидел ее улыбающуюся, уверенной в себе и в том, что этот месяц, пока меня не будет дома, она и сама с ними отлично справится. Я все это понимал и был

благодарен, но, ей-богу, больше, пожалуй, мне хотелось уловить какой-нибудь признак, из которого можно бы заключить: без меня им тут будет нелегко.

Со старшим у нас был на днях серьезный разговор о его школьных делах, и сейчас он стоял с учебником геометрии в руках и тихонько покачивал головой, словно все еще что-то про себя повторял и никак не мог оторваться, и вид у него был нарочито глубокомысленный, но я-то знал, что тут же, как только щелкнет замок, он бросится в детскую и учебник с шелестом полетит в угол, а сам он с маху опрокинется на тахту и задерет ноги.

Средний рассмешил нас вчера. Мы сидели за столом, ужинали, все как-то притихли, и он вдруг со вздохом сказал:

— Хоть бы недельку пожить без всех этих вопросов.

Я так и застыл с открытым ртом:

— Это без каких же вопросов?

— Ну, «вытряхни, пожалуйста, из пепельницы», «подай тапки».

Теперь мать выжала из него наконец, что он «будет скучать», но по глазам его очень хорошо было видно, что он отлично понимает: с моим отъездом «вопросов» для него станет вдвое меньше.

А младший наш, совсем кроха, сидя у жены на руках, усердно делал мне «до свиданья» — до свиданья», и все они вместе с ней демонстрировали в общем такую твердую решимость без меня продержаться, что, казалось, не могли прямо-таки дожидаться, когда дверь за мной, наконец, захлопнется.

И я спускался по темной лестнице и грустно думал, что младший мой, как говорится, не одинок, что все трое моих мальчишек ничего еще пока не понимают; и с внезапной тревогой бросился потом к замерзшему окну, когда автобус катил мимо нашего дома.

Теперь мы были уже за городом, но ехать стали заметно медленней. По заиндевевым стеклам то и дело ползли желтые блики от встречных машин, ползли еле-еле — покрытая наледью полоска асфальта здесь совсем сузилась, и на обочину не съедешь, там теперь тянутся белые островерхие хребты и черные стволы голых деревьев вдоль дороги сиротливо торчат над горбатыми сугробами.

Зима, и правда, для здешних мест просто небывалая.

До сих пор я и сам себе не желал признаваться, что мне, как и всем, тоже холодно, все держал сибирскую марку и ни разу не появился на улице ни в ушанке, ни в теплых ботинках. В этом городе, где я теперь жил, в обычае медлительная беседа где-нибудь посреди тротуара на улице, и я, привыкший к торопливому ритму рабочего поселка, на первых порах все куда-то невольно спешил и чувствовал себя неловко, когда понимал, что беспокойством своим этот здешний обычай я безжалостно нарушаю. Но теперь я уже пообвык. Порассуждать о коварстве нынешней зимы останавливался на улице с двойным удовольствием и только начинал настраиваться на благодушный разговор, как вдруг замечал во взгляде у своего собеседника некоторую нервность, и становилось неловко мне теперь оттого, что опять я словно чего-то не понимал, продолжая задерживать на холоде озябшего человека... Я

тут же протягивал руку, а мой знакомый, поспешно подавая свою, другою виновато тер уши или проводил по влажным от изморози усам.

А сейчас я, кажется, впервые пожалел, что не оделся теплее — пальцы на ногах у меня уже вконец занемели, острый сквозняк, бежавший над металлическим днищем автобуса, немилосердно жег лодыжки.

А мальчишонка напротив и совсем, видно, застыл. Ткнул в грудь подбородок да так и замер.

— Вот, брат, как нынче дает.

— Дает так дает.

— Нам с тобой надо было валенки надевать, а мы в туфельках.

— А вы, дядя, пальцами шевелите, а потом пяткой в пол или вот сюда.

Он уперся подошвами в ножку своего сиденья, а плечами прижался к спинке кресла, напрягаясь всем телом, и маленький его острый подбородок слегка приподнялся и задрожал.

— Уф, знаете, как сразу тепло.

Я невольно прищурил глаза, улыбаясь ему, — ишь, теоретик.

— Ну, а в дневнике-то у тебя как? Терпеть можно? Или сплошные двойки?

— Да нет, как сказать.

— Одни пятерки, что ль?

— Да нет, не одни, но есть, — и тут же вздохнул. — Верней, были. В той четверти. А в этой вообще-то не было.

— Что ж ты так?

Он снова ответил, не вдаваясь в подробности:

— Так получилось, — помолчал немного, а потом словно решил-таки досказать. — Бокс много времени отнимает, вот в чем беда. А бросить его я не бросаю.

И лицо у него стало строгое.

— Это ты правильно. Ни в коем случае не бросай.

Сам я бросил. И чем дальше, тем обиднее почему-то об этом мне вспоминать.

А начиналось все так хорошо. В новом здании университета на Ленинских горах у нас был прекрасный зал, и занимался с нами не кто-нибудь, а Виктор Иванович Огуренков, тренер сборной страны, и ребята из сборной, когда съезжались в Москву перед поездками за границу, работали у нас в зале, и тогда тут было на что посмотреть, нет, нет, время то было замечательное, жаль, что его нельзя повторить, нельзя прожить его заново.

У меня вроде бы получалось, и раза два или три Виктор Иванович проворчал что-то такое, что можно было понимать как похвалу, а потом произошла такая штука: на тренировке у меня украли часы.

Как-то после разминки я на минуту вышел из зала, зачем-то заглянул в раздевалку и тут увидел, как дверцу моего шкафа закрывает рыжий высокий парень — он стоял еще без перчаток, только ладони были перебинтованы. Тогда-то я не придавал значения, ни о чем таком не подумал: может быть, человек ошибся, да мало ли! В те счастливые времена я был яростно убежден, что одно только слово «московский».

уже как бы является надежной гарантией против всего дурного, иначе и быть не могло, а как же — здесь, в стенах университета, собрались самые достойные, и все они вместе это тоже своего рода сборная, и это чудо, что в нее вдруг попал и я, простой, родом из кубанской станицы смертный.

И когда я заметил рыжего около моего шкафа, мне и в голову ничего не пришло. Только потом, когда пропажа обнаружилась, тот миг увиделся мне как бы заново, и как в зале кино, когда смотришь фильм второй раз и замечаешь уже гораздо больше подробностей, так и я теперь уловил, теперь припомнил, что, увидев меня, рыжий как-то странно сжал ладонь...

Не знаю, что я сделал бы, если бы это дошло до меня сразу, но как обвинить человека в воровстве задним числом?

Вот они, ладные эти ребята, уже одетые после душа, уже затягивающие галстуки, уже поправляющие виски — влажные волосы ровно расчесаны, — у каждого по тогдашней моде — кок, и от всех прямо-таки пышет чистотой и здоровьем. И вдруг подхожу к ним я — в тюбетейке, которую вынужден носить, потому что иначе прическа моя тут же распадается, как плохо сложенная копна, с предательским прыщиком на подбородке, в черной вельветке на молнии и в широченных брюках.

Я вообще заикаюсь, ладно, но, допустим, мне удастся внятно произнести:

— Ты взял мои часы — отдай.

Все лица уже повернуты к нам. «Слышали, что он сказал?» — сощурившись, спрашивает рыжий. Плотная стенка вокруг меня смыкается. «Что тут происходит, молодежь?» — это Виктор Иванович. «О! говорит, у него украли часы!» «Э, парень, — скажет Виктор Иванович, — а ты перед тем, как сказать, подумал? На кого ты хочешь поклеп возвести? На одного Динковича? Или на всю секцию? А, может, и на... Ты думал, где ты учишься?».

А был я тогда, и правда, парнишка не очень испорченный, и ночью, когда я ворочался на своей койке в общежитии на Стромынке, все представлялось мне таким образом, словно и действительно, подозревая Динковича, я невольно замахивался и на наш высокоглавый университет, и на светлые идеалы, и еще на что-то чуть ли не на самое святое.

На следующую тренировку я пришел с тяжелым сердцем. А у Динковича заболел партнер, мой тоже почему-то не появился, и в спарринг Виктор Иванович поставил нас вместе.

Мне было стыдно и за Динковича, и за себя, и за весь белый свет, я мучился и пропускал удары, а он бил и бил без промаха, и перед тем, как все закрывала его тяжелая кожаная перчатка, в совиных глазах у него я каждый раз ловил белые вспышки какой-то непонятной мне дурной ярости.

Конечно, это была слабость — на секцию я больше не пришел.

А ты ходи, мальчик, ходи — может быть, и я тогда устоял бы, если бы в спортзал впервые попал не в восемнадцать, если бы запах пропах-

шей потом кожи на перчатках вдохнул бы раньше и раньше ощутил все то, что я, кажется, так ясно ощущаю и сейчас — прилипшую к телу майку и мокрый свой подбородок на горячем плече, и боль в скулах от тугого удара в челюсть, и солоноватый привкус во рту, и шнурки, которые вдруг хлестнут по щеке, и тугую резинку на поясе, все!

— Ты не бросай. Подтянуться, брат, с учебой надо железно, но секцию не бросай.

— Кружок...

— Да, кружок.

— Другой раз я боюсь, что не выдержу, — сказал мальчишка. — Но пока я держусь. Правда, мне сейчас, ох, и здорово достается!..

— Почему?

— Да просто мне не повезло. К нам новенький пришел в этом году. Тренер поставил его со мной и говорит: а ну-ка, Толя, покажи ему, как надо работать. А он такой же вроде, как я. И рост, и все. А потом я чувствую, что-то не так, точно — не так! Больно он крепкий. А сколько тебе, говорю, лет? А он: четырнадцать. Представляете, дядь, он почти на три года старше меня.

— Д-да. Слушай, это, наверно, чувствительно!

— Еще как! Он так колошматит!

— А он давно занимается?

— Говорит, нет...

— Но ты-то видишь?

— В том и дело, бижу. Мне кажется, он давно не новичок, он такие вещи знает.

С высоты свих тридцати пяти я решил дать ему совет:

— А ты уходи. — И не очень ловко повел шеей, на которой был туго застегнут воротничок с крошечным квадратиком материи, где стояла цифра 44. — Ты уходи — раз!

— Не, дядь, я не могу от него уйти.

— Почему?

— Да в том и дело, что он видит. Вы понимаете, я только собираюсь, а он видит. Я только финт, а он разгадывает. Я — на обманку, а он — не идет. Понимаете, он по глазам меня видит.

— Да, слушай, попал ты тут в положение.

Все-таки ему всего двенадцать — он вздохнул:

— Другой раз я думаю. Попасть бы к нему домой и посмотреть: есть ли у него грамоты за бокс?

— А ты спроси у него. Так, будто между прочим: а ты, наверно, уже занимался боксом?

— Но он-то при мне сказал тренеру, что нет. А если я спросил, значит, он меня одолевает? Чего б я иначе сомневался? Так же?

Мне ничего не оставалось, как согласиться:

— В общем, так.

— Вот я и держусь. А что дальше... Прошлый раз он мне саданул, я сначала подумал, у меня челюсть треснула, — в тоне у него, конечно, появилась гордость. — Раз потрогаю, вроде прошло.

— И ты все же это время ходил на бокс?

— А что ж он тогда подумает? Вот я и прикрывался.
— Слушай-ка,— сказал я ему очень решительно.— Ты поговори с тренером.

— А что я ему скажу?

— А так и скажи. Как мальчишку-то, твоего партнера?

— Борька.

— А Борька, мол, на три года старше.

— А вдруг тренер скажет: а я знаю. Ну и что?

— Как что?

Мальчишка сказал очень просто и грустно:

— Он ведь поставил меня и сказал: покажи ему, Толя. Выходит, я не могу показать? И он видит, как мы боксуемся. Он, наверно, все понимает. Но раз надеется на меня...

Его напарник мне здорово не нравился:

— Ну, слушай, если он занимался боксом, ему просто должно быть совестно выдавать себя за новичка!

— Если бы я знал точно.

— А ты спроси.

— Выходит, я ему не верю? Или так напугался...

— Да-а, брат... Но это тоже не дело — чтобы он колотил тебя.

— А мне, думаете, хочется? Вот я и думаю все время, и думаю.

— Да, тут ты, ей-богу, попал.

Он подышал на оконное стекло и приник глазом, а когда слова повернулся ко мне, лицо у него было задумчивое.

И все-таки ты не бросай, мальчик, нет, не бросай,— ты держись.

С этим рыжим, с Динковичем, у нас потом сложились странные отношения. Наша университетская многотиражка напечатала мой рассказ, очень слабый и сентиментальный до того, что мне и сейчас еще вспоминать об этом неловко, и все-таки вспоминаю я о нем лишь потому, что интересен сам случай, который я взял тогда за основу. У меня был друг Дарио, из тех испанцев, которые детьми еще приехали в Россию. Мать у него умерла еще там, на родине, а об отце ничего не было слышно, и Дарио давно уже считал себя круглым сиротой. И вдруг его разыскал отец, бывший капитан торгового судна. Оказалось, после поражения он увел свой корабль на Кубу, и жил там, и тоже плавал, и поднял на своем «купце» красный флаг тут же, как только Фидель занял казармы Манкадо, и в Москву он приехал с самой первой делегацией новой Кубы.

Дарио рассказывал, как отец хотел, чтобы он вспомнил тот день, когда они расстались, наверное, для него это было почему-то очень важно, — и он снова и снова рассказывал и о давке в порту, и о бомбежке, и о том, как над французским транспортом, увозившим детей, завязался воздушный бой. А Дарио, как ни напрягал память, видел только большой оранжевый апельсин, который тогда кто-то сунул ему в руки, а отец этого апельсина, конечно, не помнил, и мой рассказ был обо всем этом, только я почему-то решил, что все должно происходить в ночь под Новый год — и расставание в Барселоне, и встреча в Москве... И сын с отцом медленно шли по заснеженным улицам, и под но-

ги им бросалась метель, и парень — испанец, выросший в России, — вспоминал огромный золотисто-красный апельсин.

Оказалось, сентиментальный этот рассказ понравился Динковичу, и как-то он подошел ко мне и заговорил. Пожалел, что я бросил секцию, предложил вернуться и под конец сказал, что он берег меня под свою защиту — что-то такое. В общем, это было удивившее меня и, признаться, растрогавшее предложение дружбы, растрогавшее, пожалуй, потому, что тогда я впервые стал догадываться о тайной силе слов, твоею волей сведенных вместе.

Странно эта «дружба» началась, и странно она закончилась.

Мы были с разных факультетов, он с юридического, а я тогда еще не перешел с философского, и Динкович ревновал меня к нашим ребятам, и при них вел себя особенно покровительственно, как бы отделяя меня от моих однокурсников, как бы отгораживая от них, как бы неизвестно от чего защищая. В общежитии все это было еще не так заметно, но когда все вместе мы оказались на сборах! Есть, наверное, у казармы таксе свойство — чего-то она нас сразу лишила, чего-то она нам тут же прибавила. Или дело в другом? В том, что одетые совсем одинаково, мы, не сознавая того, отчаянно боролись за свое «я»?

А, может быть, это было возмужание, не знаю, — так или иначе, куда сильнее стал в нас жестокий дух соперничества.

Динкович привез на сборы перчатки.

В первый же день он предложил мне заниматься, и мы начали, и вокруг нас стали собираться и «юристы», и «философы». А наши бои отчего-то вдруг все меньше стали походить на тренировку, на каждый мой удачный удар Динкович молниеносно отвечал такой серией, что у меня в глазах начинали плыть белые круги. Болельщиков становилось все больше, и «юристы» обычно валялись вокруг на траве и покуривали, а наши очкарики стояли, сбившись в кучу, и даже не пытались меня подбадривать.

Дело, пожалуй, еще и вот в чем: состав курса у «юристов» был как нигде однородный, и теперь-то, издалека, я хорошо вижу — учились там крепкие мальчики, уверенные и в себе, и в будущем своем предназначении. А на наш философский, кроме всего прочего, шел все больше народ, который успел уже усомниться в том, что мир можно перестроить одними несложными командами. Как ни на каком другом факе, у нас было много бывших фронтовиков или ребят, уже прошедших через армию — старослужащих. На сборы вместе с нами они не поехали, и сразу же наш курс стал почти вдвое меньше и как будто осиротел. Или мне просто хочется оправдать чересчур мирных моих однокурсников?

Только после смотра кто-нибудь из них вдруг со вздохом говорил, что Динковичу, мол, конечно, повезло — еще бы, такой терпеливый ему попался «мешок».

А Динкович, и правда, совсем уже обнаглел, он даже не считал нужным держать руки в защите — тогда была эта мода, работать с опущенными, как у Енгибаряна, перчатками. Иногда мне казалось просто нечестным этим воспользоваться, но однажды, когда, бросив

руки вниз, он приплясывал передо мной, с насмешливой улыбкой глядя, как я прихожу в себя после любимого его крюка «по печени», я бросился на него, забыв обо всем, и удар получился крепкий, он упал, и впервые за все это время «философы» мои радостно закричали.

Потом он бил меня так, что белая исподняя рубаша была сплошь покрыта бурными отпечатками перчаток, и «за неряшливый вид» наш молоденький лейтенант вкатил мне три наряда вне очереди. Динкович знал, что у меня слабый нос, советовал есть чеснок, которым от самого от него пахивало почти постоянно. В тот раз он этим воспользовался.

С этого дня мы отделились друг от друга, а потом судьба развела нас и вовсе в разные стороны: я получил направление в Сибирь, на стройку. Динкович уехал в Ставрополь, говорили потом, что выгодно там женился и уже через год снова перебрался в Москву.

Потом мы с ним встретились в Сталегорске.

Однажды зимой мне позвонил мой друг и сказал, что в восемь вечера «при полном параде» я должен быть в городе, в ресторане «Русский сувенир». Лучше один, без жены, потому что в принципе намечается мальчишник. В очень узком кругу. Состав? Пусть это будет для меня маленький сюрприз.

В тот вечер я увидел на столе закуски, о наличии которых в нашем городе я до этого, признаться, и не подозревал. Очень жаль, что мы с моим другом оба не были дипломатами — покачив головою, о щедрости стола я заговорил вслух и только тут понял, что сзаял дурака. Ты слышишь меня, Геннадий Арсентьевич? Ты помнишь, какой урок преподавал нам тогда Динкович?

Бесхитростные мои слова стали как бы эпиграфом к чуть небрежному и будто ненароком устроенному показу, как надо уметь жить.

Не знаю, кто в этот вечер подходил к нам чаще — официант или администратор. Знавший нас, как облупленных и, ей-богу же, дороживший этим близким с нами знакомством, первому он еще издали начинал улыбаться. Динковичу — так, одними глазами — и к первому потом к нему обращался, и одобрительные отзывы о качестве осетрины принимал с чересчур явным удовольствием.

Официант занимался нами тоже хорошо знакомый, я помнил его еще в потертой гимнастерке вместо отутюженного фрака — он был демобилизованный солдат, работал у нас на стройке сперва бетонщиком, затем перешел в одно маленькое кафе там же, у нас, только затем — сюда и, кажется, все сделал правильно, потому что нашел себя. Недавно, когда был телевизионный конкурс городов, за него болел весь Сталегорск, и в финале он обошел своего соперника, официанта из областного центра, и этим почему-то особенно гордились и сталевары наши, и шахтеры, и эта братва-строители: вот, мол, и мы — не лыком...

Он был действительно хороший парень, и сейчас мы с ним, словно вступая в заговор, перемигнулись, и все-таки теперь полные достоинства неторопливые его жесты нет-нет, да и казались мне лакейскими... Грустный то был для меня вечер!

Все лица вокруг казались мне не то чтобы враждебными, но полны-

ми превосходства и высокомерия, и хотелось выскочить из душного, с пластами сигаретного дыма зала, выскочить, оставив пиджак на спинке кресла, и так, в одной рубашке, и пойти по улице — а там вечерняя стынь, там колкий снежок, который мельтешит под фонарями и над витринами, и за седой пеленой метели неслышно подрагивает вдали багровое зарево над старым комбинатом, и в ту сторону спешат трамваи, в которые сейчас лучше все-таки не входить в чистой одежде, потому что какому-нибудь совсем зеленому, только что из училища рабочему человеку больно уж хочется прокатиться в черной с блестками графита сталеварской куртке, чтобы все видели — парень, понимаешь, не пыль с пряников в «гастрономе» сдувает. По улице катится знакомая толпа, и в окружении «вечерников», каменщиков да монтажников с нашей стройки деторопливо идет кандидат философских наук Кандаков, мой друг Стас, бывший мой однокурсник, который тогда, на сборах, первый бросился под перчатки Динковича и первым заступился за меня перед молоденьким нашим лейтенантом, за что и схлопотал те же самые три наряда — нам выпало тогда засыпать землей старое отхожее место.

Не знаю, чем бы кончилось наше застолье в «Русском сувенире», но к нам вдруг подошел один, скажем так, сталегорский чиновник и сперва, правда, кивнул нам, потом положил кулак на край стола и, слегка наклонившись, негромко сказал:

— Борис Аркадьич, машина внизу.

Он был в тяжелом драповом пальто с каракулевым воротником, а пыжиковую шапку держал в руке, чуть отставив ее назад, и шапка была вся мокрая, с нее капало на паркет, и я подумал, что перед тем, как подняться сюда, он, пожалуй, постоял на улице, подождал. И почти тут же к нашему столику подплыла директриса, спрашивая, всем ли гости довольны, и Динкович только степенно покиивал, не вынимая изо рта тонкого перышка зубочистки, потом зажал ее губами, раскрыв крошечный, из темного дерева полированный футляр, и тут вдруг на один миг куда девалась его респектабельность, лицо его, до этого строго значительное или слегка ироническое, вдруг как-то разом обмякло, отвисла вдруг нижняя челюсть, а рыжие совиные глаза стали совершенно дурацкие, такие, какими они бывали у него еще очель давно, когда ни с того, ни с сего он мог стать среди улицы в стойку и, не обращая внимания на прохожих, во всю глотку радостно заорать:

— А по печени — бэмз!.. Бэмз!

Так и теперь — он вдруг кинул через стол руку с зажатым в ладони футлярчиком, из которого торчали белые хвостики зубочисток, сунул под нос мне, потом моему другу:

— Ты хоть понюхай!.. И ты! Сандал! Такое дерево.

Как лихо и весело мы с тобой, Геннадий Арсентьевич, могли под орех разделять этих напыщенных индюков, этих в потном кулаке насмерть зажавших захватанное перо жар-птицы гавриков... А что с нами случилось тогда? Почему мы были словно потерянные?

Я, поперхнувшись, промолчал, а ты только сказал, посмотрев на этого, с пыжиковой шапкой в руке:

— Надо бы, Петр Евграфыч, попросить столичного товарища, чтобы он для музея оставил эту штуку. Славная, так сказать, страница в истории города.

А Динкович снова был сама респектабельность и фужер с минеральной взял таким совсем «мидовским» жестом, только рот прополоскал чересчур шумно.

Потом он сунул ладонь за борт пиджака, и мы с другом, тоже словно наперегонки, рванулись рассчитывать, но директриса подняла пухлые руки:

— Что вы, что вы, товарищи... уже все.

А Динкович раскрыл бумажник, и белый листок визитной карточки лег сначала передо мной, потом — перед моим другом.

— Звоните, для вас у меня время найдется всегда,— и глянул вверх, неторопливо определяя в карман бумажник.— Вы их тут не обижаете, Петр Евграфыч? Имейте в виду, что этим ребятам есть кому пожаловаться... Н-ну, имею честь!

И в том, как он встал, чувствовалась школа — мы тоже вдруг немного привстали, а наш солидный, скажем так, чиновник расправил плечи и шеей повел по каракулевому воротнику.

Они ушли, а рядом с нами остался стоять этот мальчишка в отутюженном фраке, наш бывший бетонщик.

— Что мы на этот раз, Валера?

— Спасибо, уже уплачено...

— Ты не обижайся — сколько?

— Я даже не знаю.

— А ты на глаз.

— Многовато.

— Трешник я позволю себе оставить,— сказал мой друг.— Какой же я без трешника.

Мальчишка обвел взглядом недопитое в бутылках:

— А это куда?

Мы уже стояли, и Гена наклонился к уху мальчишки, что-то такое прошептал. Ясно, что.

— ...только ты не обижайся!

— Я-то причем?

— Мы тоже так думаем.

— А знаешь, хорошо, что ты их обштопал там, на конкурсе.

Он радостно отозвался:

— Они сперва хотели зажать первое место: неудобно, мол, надо бы парню из области...

— Нет, ты молодец...

— Ну, заходите, я рад. Садитесь всегда ко мне.

— Спасибо.

Он сделал виноватое лицо, кивнул на то место, где только сидел Динкович.

— А этот мне что-то не очень...

— Какое совпадение! — нарочно громко и весело проговорил мой друг.

На улице шел снег, густой и тихий, и отпечатки автомобильных шин у подъезда ресторана были уже плотно припорошены. Маленький скверик напротив пустовал, и каждая скамейка там была ровно застелена белым. Дальше, над теплой от комбинатовских сбросов речушкой, высоко поднимался негустой пар, а над ним, над серыми громадами каменных зданий глухо ворочалось иссиня-багровое зарево.

Мы молча пошли по улице, миновали центр и у моста через теплую нашу речку, не сговариваясь, повернули направо, вошли в кафе. Раздеваться не стали — тут был буфет, в котором можно было и не раздеваться.

Немного подождали в очереди, потом все так же молча у высокой мраморной стойки раздергали на шее галстуки, постояли еще чуть-чуть, ни к чему не притрагиваясь и словно бы давая отдалиться от себя чему-то чужому и обидному.

И все, наверное, было бы потом хорошо, и об этом странном вечере мы просто постарались бы забыть, но тут случилась одна история, которая до сих пор не дает мне покоя.

Резко отодвинув меня плечом, мимо нас прошел невысокий худощавый мужчина лет тридцати пяти. На нем был зеленый прорабский плащ, и когда владелец его, кривя губы, обернулся и с головы до ног окинул меня тяжелым нетрезвым взглядом, я увидел и потертый кожаный шок под плащом, и обмотанный вокруг шеи дешевый шарф.

Мы с моим другом пожали плечами, но через минуту человек этот, шедший от буфетной стойки уже обратно, налетел на меня на полном ходу, и тарелка, которую он нес в руке, вдребезги разлетелась на каменном полу... Этот, в брезентовом плаще, постоял, слегка пошатываясь и словно задумчиво глядя на свой мокрый кулак, в котором он сжимал совсем почти опустевший стакан, потом поставил его на столик со мною рядом, наклонился, подобрал с пола кильку и, держа ее за хвост, осторожно положил на мою тарелку.

— Э, парень, не забывайся! — строго сказал мой друг.

А он тяжело нагнулся, нашел среди фарфоровых осколков еще рыбешку и, приподнявшись, ткнул ею ему в лицо.

Я дернул его за плечо, поворачивая к себе, хотел ударить в подбородок, но промахнулся, кулак скользнул по выложенному поверх плаща меховому воротнику кожанка, и почему-то именно это совсем вывело меня из себя, и, когда я во второй раз ударил уже точно, этот бедолага отлетел под ноги к швейцару, и тот, молниеносно просунув голову между тонкими размалеванными под березу стойками, переливчато свистнул в сторону раздевалки, и там сейчас же выпрямился полулежавший на загородке старшина, и все, как назло, произошло в считанные секунды: швейцар, видимо, за всем наблюдавший, только что-то негромко сказал старшине, и тот, даже не обернувшись в нашу сторону, быстренько потащил еще не совсем пришедшего в себя человека в брезентовом плаще на улицу.

А милицкий газик мы заметили, когда только подходили к кафе, — видно, ребятам надоело колесить по городу, и они на минуту

забежали сюда, где шум да суета, а, может быть, у них закончилось курево...

По всем забегаловочным кодексам я был безусловно прав, и все-таки чересчур гадко было у меня на душе, и в тот вечер, и особенно утром. Было совсем рано, когда я позвонил своему другу Береснезу, капитану милиции, все рассказал и попросил срочно узнать, как там и что с этим парнем. Минут через сорок раздался ответный звонок:

— Это прораб с «электромонтажного», Сердюков... Не знаешь? Я тоже не знаю, он недавно. Сам-то он молчит, а там какой-то или сосед его по дому попался или с участка, говорит, от него жена ушла, понимаешь, какое дело. Бросила двух ребятишек и с кем-то уехала, а он совсем один, ни матери, ни хоть какой старушонки, никого.

А я не понимал себя, я ломал голову: почему все так произошло? Не скажу, чтобы после выпивки я был ягодка, вовсе нет, и все-таки бить — это было не в моих правилах, никогда я до этого не бил первым, и теперь я, ей-богу, мучался почти физически и тогда, может быть, впервые понял, что такое — болит душа.

Не раз и не два мысленно возвратился я к этому вечеру и вдруг с уколовшей сердце остротой понял: да это ведь тот удар, который совсем другому был предназначен, вот в чем было дело! Просто этот прораб с «электромонтажного» подвернулся, что называется, под руку, а на самом деле все должно было случиться чуть раньше... Вставай бы из-за стола, слегка ткнуть его пальцем в плечо, как будто приподнимая с удобного кресла, спокойно сказать:

— А это ведь ты украл тогда в раздевалке мои часы!

Почему мы прощаем такие вещи? Почему вдруг стыдно становится нам — не им?

Тогда, еще студентом, тебе все казалось, что его грызет раскаяние и этого с него вполне достаточно, ты и сблизился-то с ним тогда больше всего из-за желания помочь пережить ему эти его выдуманные тобою самим угрызения совести... Или ты хотел наказать его добротой? Пусть так. Но теперь, когда перед тобою сидела уже совершенно законченная, с приличным стажем сволочь и на губах у нее были явные заеды от того самого дармового пирога, который они поедают с таким чавканьем... Что ж ты целый вечер просидел с ним за одним столом? Почему тот поединок, когда твоя исподняя рубаха была вся в бурых пятнах, вы с ним вспоминали со смехом? По каким таким законам гостеприимства?

Как все, в самом деле, устроено: в Москве у одного сопляка мальчишки украли в раздевалке часы, а через много лет в далеком Сталегорске прораб, от которого ушла жена, получает в челюсть, и его тут же увозит милицейский газик... Наверное, мир полон такими странными связями, которые не так-то просто и проследить — или связь эту я придумал тогда себе в оправдание?

И мне снова до боли жаль было этого бедолагу-прораба, горе свое заедавшего килькой под майонезом, и жаль его до сих пор, и до сих пор за весь тот вечер мучительно стыдно — вот какое дело, я очень любил, а теперь, кажется, еще больше люблю этот город, Сталегорск, и

на него мне тоже грех жаловаться, но тогда, когда появился Динкович, между нами словно промелькнула серая тень предательства — пусть не весь он, но что-то из него, из Сталегорска, меня предало. И я тоже предал — пусть не этот город целиком, нет, никогда — но предал что-то ему безраздельно принадлежащее...

А ты, мальчик, не бросай, нет, не бросай свой бокс, ты ходи...

А он и действительно думал — вдруг сказал мне, словно продолжая прерванный разговор:

— Мне бы только узнать, есть ли у него грамоты за бокс!

— Н-ну, может, как-нибудь будешь у него дома.

— А у него далеко дом.

— Как это — далеко?

— Да я ведь, дядя, в интернате живу.

— Во-он что? А где твой интернат? — и я назвал городок, откуда мы ехали. — Там, что ли?

— Нет, еще дальше.

— А куда ж ты так поздно едешь?

— Под Туапсе я еду. В Индюк. Там у меня мама лежит.

— Как то есть... лежит?

— Больная. Вот и лежит.

Этого я, конечно, не ожидал — на первый взгляд он был довольно благополучный мальчишка. И только теперь я увидел, что и пальтишко на нем совсем худое, и никакого, хотя бы плохонького, свитерка, и верхней пуговицы нет на серой казенной рубашонке.

— А что с мамой, Толя?

— Паралич. Из-за меня и разбил...

— Как — из-за тебя?

— Она, правда, и раньше... Пугливая она очень... За все переживает. А тут приехала в интернат, а у меня как раз — такие синячищи... Это мы со старшеклассниками подрались. Двое против шестерых, и директор сказал, там все правильно... Они горбатого мальчишку обидели. Ну, вот. Она приехала, а я как раз спал на койке. И все лицо в синяках. А она подумала, как у папы...

— А что с папой?

— Разбился.

Я только повел головой: и неловко его расспрашивать, и как замолчать теперь — начавши?

Он сам заговорил:

— Насмерть. Два года назад. Он у меня таксист был. По всем этим дорогам ездил, по Черному берегу. Туапсе, Сочи, Анапа...

Мальчишка уже не сидел, — нахохлившись, он стоял в проходе между двумя нашими сиденьями, приподнимал плечи и, чуть отвернувшись, прятал подбородок, ткнув его в кончик воротника.

Автобус потряхивало, он вздрагивал, скрежетал, и я сидел, вытянувшись к мальчишке, и совсем перестал стучать ногами — казалось, неловко.

— Да-а, брат...

— Его большая машина сбила, КРАЗ. И он упал в ущелье. Когда

спустились туда, милиция говорила, дверка была уже открыта, только выпрыгнуть он не успел. Перевязали его всего... Он два дня еще пожил, только в сознание так и не пришел.

Я все головою покачивал, морщился. Мне вдруг стало очень холодно — только сейчас, наконец, в полной мере я оценил этот морозный ветерок внизу, под ногами.

— А меня как раз дома не было, к бабушке ездил. Мать не сообщила ничего. Приезжаю, а она в трауре. Кто, говорю, мам, у нас помер?.. Та, говорит, дальний родственник один, ты его, детка, и не знаешь. А где папка? Да где? Ездит, как всегда. Сама плачет. Я стану: чего ты, мам? Да, так. А потом паска была, а мне соседи говорят, пацаны: чего, Толян, пойдем на могилки? Отца своего хоть проведаешь. Я говорю: может, — по мордам? А они: ти, а ты до сих пор не знал?

Невыносимо холодно было в автобусе.

Он смотрел на меня, словно чего-то ждал.

— А ты один у мамы?

— Один... И она теперь одна. Правда, сейчас бабушка приехала. Потому что плохо. Она и письмо мне написала. Мне справку дали, и я поехал.

Я сперва не понял:

— Что за справку?

— Ну, чтобы милиция знала, что я ниоткуда не убежал, что я к маме еду...

— Ты, я гляжу, совсем замерз...

— Да ничего. Чего ж теперь?

А мне почему-то показалось, что он ждал расспросов.

— Да, Толя... Если мама против, может быть, тут стоит подумать...

Он повел плечами, нарочно дрожа:

— А я думал. Я и у врача спрашивал: что, если брошу? Будет маме лучше? А он замылся... Значит, не будет. А я брошу. А мне отец говорил: никогда не бросай, Толька! Как бы там трудно, а ты не бросай.

Просто ужасный холод.

На каждой остановке все вставали и принимались приплясывать. Две пожилые женщины, обе в цигейковых шубах, попеременно терли друг другу спины.

Я вдруг спохватился, мне стало неловко: разговариваю тут с ним, а он, бедняжка, уже и «бублик», что называется, не выговорит.

— Иди-ка ты на переднее сиденье, а, Толь? У этого автобуса мотор там. Все-таки потеплей — иди, иди...

Он сел там рядом с полной женщиной в синем длинном пальто с хорошей чернобуркой. Она показала ему, что надо сунуть ладони в щель между сиденьями, откуда, видно, пробивалось тепло, и он подержал было там руки, а потом снова опустил их в карманы, опять отставил локти, опять затих, уткнув в грудь остренький подбородок, и под оттопыренным его воротником даже отсюда, издалека, видна была голая шея.

Я не мог сидеть, встал, попробовал топтаться на одном месте, поджимал и разжимал пальцы — ноги у меня совсем заledenели.

Было и действительно очень холодно, но мне теперь казалось, что все-таки я не слишком замерз, а просто невольно склонен преувеличивать, чтобы не казаться сейчас самому себе таким чрезмерно благополучным.

Мальчишке этому и в самом деле живется нелегко, но посмотреть, как он держится. Отчего же мы, которым уже за тридцать, тут же расклеиваемся от пустяковой обиды и выбить нас из колеи может какое-нибудь не столь важное известие?

Каких только страхов не пришлось мне совсем недавно пережить, а так ли все было плохо?

Опять я мысленно возвращался на несколько лет назад...

Дело в том, что мы с женой начинали на этой стройке в Сибири почти с палаток, и когда пошли ребятишки, хлебнули с ними достаточно. Досталось и обеим бабушкам, им, может быть, даже больше, чем нам. То одна, то другая — у кого здоровье в ту пору было покрепче — ранним летом спешили в Сибирь за внуками и ахали тут, и вздыхали, покупая на углу за двадцать копеек тощий пучок черемши, и плакали потихоньку, глядя на безвитаминную нашу жизнь в этом поселке, в котором снег был уже изжелта-серым от заводской копоти. Потом, провожая нас осенью вместе с детьми, они съезжались в Армавире и рыдали тут в один голос, наперебой жаловались на плохое здоровье, и каждые такие проводы были похожи на прощанье.

А тут у меня работа, действительно, — сплошные поездки, уедешь, и думай, как там они, вдруг кто из ребятишек приболеет, некому с ним дома и посидеть, и ладно еще, если ребятишки, а вдруг жена? Такое однажды случилось, и я бросил все дела и срочно вылетел из Иркутска, и хоть друзья наши не дали мальчишке пропасть, мы были этим случаем здорово напуганы... И пошли разговоры о перемене климата.

А в общем-то, у жизни есть достаточно способов заставить человека переехать из одного места в другое.

Говорят, что в Сибири рубль длиннее обычного. Во-первых, истина эта прямо-таки очень сомнительна, а для нас, во-вторых, куда длиннее оказалась Транссибирская магистраль, по которой бабушки то и дело возили наших мальчишек. И жизнь тут, на Кубани, была у нас на первых порах не самая веселая, и все приходилось начинать сначала, и то многое, что этому сопутствует, иногда вдруг казалось не только трудным, но и обидным, и в общем не только потому, что секретарша Галья в приемной председателя Сталегорского горисполкома мило улыбнулась бы мне там, где эта, здешняя, смотрела на меня, как сквозь хорошо вымытое оконное стекло.

Это была моя родина, вот в чем дело, и я всегда ею гордился, и в трудные минуты припоминал свою кровную связь с казачьей вольницей, и метельными сибирскими вечерами рассказывал о ее ковыльных степях и синих предгорьях, о жарком солнце и щедрых ее садах... А сейчас она меня словно не хотела узнавать, и мне, давно понявшему что почем, теперь казалось, что взгляд ее равнодушен, может быть, еще и от довольства собой, и от чрезмерного благополучия, и теплой сытости.

С тоскою я вспоминал свой последний день в Сталегорске.

Вечером стали собираться друзья. Ребята слегка постарше меня и слегка помоложе, приехавшие на стройку чуть раньше меня и чуть позже... Одни из них начинали здесь с новеньким институтским «поплавком», и это они, сами почти ничего еще не умевшие, преподавали мне азы строительного дела, они были первыми моими консультантами и первыми бескомпромиссными критиками. Непокойная жизнь быстро научила их тут засучивать рукава, и что такое ответственность, они поняли раньше многих своих сверстников. Все приливы и отливы большой стройки выстояли они неколебимо и, бывшие тонкоголосые мастера, теперь давно уже работали начальниками ведущих управлений, и каждый имел уже по десятку выговоров, и три-четыре года не уходил в отпуск — все как и полагалось. Для меня всегда было как подарок, если кто-то из них поздно вечером, после какого-либо совсем разбередившего душу совещания, вдруг заскакивал ко мне: «Не хочешь на денечек в тайгу?.. Ты веришь, уже на людей стал бросаться. Давай-ка у костерочка поваляемся, на звезды посмотрим...».

Другие начинали тут со значком отличника боевой и политической подготовки на порывевшей от пота гимнастерке, эти чертоломили за пятерых и после работы шли на занятия в учебно-курсовой комбинат, и шли в техникум, и чудом каким-то успевали отхватить себе в жены такую, что кровь с молоком, сибирячку, и нарожать с ней детишек... Теперь они были известные на всю страну бригадиры, и перед поездкой в Москву на какое-нибудь очередное совещание они приходили ко мне притихшие и словно в чем виноватые, и я только вздыхал и садился за стол сочинять речь, а они маялись рядом, заглядывали через плечо и, прощаясь, сдавливали ладонь так, что утром, перед тем, как взяться за ручку, приходилось разминать себе пальцы.

А спустя месяц или два кто-либо из них звонил мне и голосом, не допускавшим возражений, сообщал: «Сейчас за тобой «коробочка» придет. Я послал. Хоть на стройку посмотришь. А то сидишь там, пишешь бог знает что, — приезжай, тут ребята хоть паутину с тебя снимут, вон слышишь — пыль, говорит, с ушей ему стряхнем...».

И почему-то виноватым чувствовал себя теперь я...

И тут были хлопцы из многотиражки, в которой я начинал, и с телевидения, и земляки из управления механизации и из всех трех наших автобаз, и были старики из каменщиков да бетонщиков, и парни, давно перешедшие от них в доменный или прокатный, и врачи из нашей поликлиники, тоже ветераны стройки, будь здоров мальчики, и были все эти большие теперь люди из горкома партии, начинавшие в нашем комсомольском штабе на первой котельной промбазы.

В ближней комнате на газетах, в углу постеленных на пол, уже лежала гора одежды, и здесь были и замызганные полушубки, и респектабельные пальто из ратина, нейлоновые куртки и синие ватники с желтой эмблемой «минстроя» повыше локтя, и откуда-то из-под полы продувного прорабского плаща выглядывал рыжий рукав дохи собачьего меха, а на самом верху рядом с потертой милицейской шинелью разлегался паролоновый мантиль с заграничной этикеткой в половину подклада.

Определяя в угол очередное пальто, я глянул в окно и увидел, что служебный автобус, только что затормозивший у подъезда, пытается теперь задним ходом пробиться через большой сугроб и стать на крошечной площадке рядом с четырьмя или пятью легковыми машинами.

Я представил, как главный диспетчер треста, мой старый друг Никанорыч, подталкивая впереди себя шофера Володю, переступит через порог и с серьезною миной на лице заявит, что теперь-то можно и начинать, дежурный автобус на месте, и, если кто-либо переберет, а кому другому не хватит... Потом его возьмут под руки, поведут к столу, и это будет, конечно, зрелище, потому что ровно два дня назад Никанорыч уже в который раз страшною клятвою поклялся, что свой лимит по этому делу на стройке он давно исчерпал и хватит, больше ни капли.

Они с Володей только поднимались по лестнице, отряхивая снег, toppали за стеной — они еще не вошли, а мне вдруг стало до боли ясно: и это, что случится только через три или пять минут, это все тоже для меня — уже в прошлом.

А потом были и дружеские тосты, такие в тот вечер откровенные, словно я уезжал туда, откуда никто не возвращается, и были нарочно веселые слова, от которых комок подступал к горлу, и были шутки, на этот раз не вызывавшие у меня ничего, кроме долгого вздоха, и были руки на моих плечах, и крупные, с проступившей к вечеру щегойной подбородки, царапавшие мне щеку. И я, сам ни грамма в тот вечер не выпивший из-за истории с печенью, в конце концов неутешно заплакал, и мне за то нисколько не было стыдно.

Утром, когда мы стояли на перроне, я вдруг подумал, что странное получается дело: да, эти ребята остаются в Сталегорске — но разве они и не уезжают вместе со мною? Да, я уезжаю отсюда далеко — но разве не остаюсь я навсегда в этом городе?

И я незаметно повел головою, оглянулся. Около двери молоденькая проводница со скучающим видом зевнула, потом достала из кармашка круглое зеркальце... Разве она могла знать, что в это время мимо нее сплошным потоком идут в вагон мои друзья и знакомые и спешат те ребята, о которых я когда-либо еще напишу — подручные сталеваров и хирурги, взрывники и навалоотбойщики, лесорубы, таксисты, пасечники, начальники партий, сплавщики, хоккеисты, дежурные монтеры, охотники. Кого только не было в толпе, которая шла и шла — и те, с кем успели мы съесть вдвоем тот самый пуд соли, и те, с кем я не собрался еще и парой слов перекинуться, а только обменялся когда-то понимающе улыбкой, и здесь были те, кто когда-либо давал мне ночлег и пищу и кто ночевал и сидел за столом в моем доме; те, кто рассказывал мне о своих бедах, и те, кому исповедовался я сам; и садились те, кто меня когда-то не оставил в беде, и те, кого поддержал я; спешили те, кто меня когда-то обидел, и те, перед кем я сам был так виноват; и торопились тоже и те, с кем я не был знаком, о ком мне только рассказывали, и они теперь были тоже тут — это просто удивительно, сколько народа могло войти в этот обыкновенный вагон скорого поезда!

Но на маленькой южной станции, где почти единственным признаком зимы был дотаивающий от косого дождя ноздреватый снег, который

наш состав успел дотащить сюда на крышах вагонов,— я сошел, конечно, один.

И состояние одиночества на многие дни стало для меня тогда обычным.

На главной улице этого городка, в котором мы жили теперь у родственников, днем часто встретишь при полном параде вышедших для неспешной прогулки людей почтенного возраста... Походка у них настолько важна и нетороплива, что поневоле хочется назвать их не стариками, но старцами, и полные достоинства лица настолько торжественны, что невозможно не сказать о них: лики.

Когда идешь навстречу такому старцу, он смотрит на тебя с пристальным ожиданием чего-то значительного, и тебе вдруг делается стыдно, если ты с ним по крайней мере не поздороваешься.

Старцы были одни и те же изо дня в день, и меня они тут же раскусили.

При встрече со мной кто-либо из них почти незаметно кивал еще издали, и, когда сперва раз или другой я виновато проходил мимо, этот кивок оставался как бы началом медленного движения — мало ли, может, человеку жмет воротник и ему захотелось повести головой? Если же, пойманный на эту удочку, я быстренько отвечал на кивок, старец сперва смотрел на меня как будто чуть удивленно и только потом церемонно кланялся.

Кивок издали словно был для меня знаком приготовиться к приветствию, и эту игру мы вскоре великолепно освоили. Теперь я здоровался почти с каждым из них, и потом, когда более или менее обвык, один из моих новых друзей с удивлением спросил у меня:

— Э, послушай, откуда ты знаешь всех наших пенсионеров?

Но это потом. А сперва мне было не до шуток.

И в просторных кабинетах с ковровой дорожкой, и у скрипучих столов, отгороженных от остальных невыкрашенным фанерным щитом, стал я чрезмерно тих и, пожалуй, чрезмерно вежлив, и это казалось мне странным, потому что я всегда был не прочь и с кем угодно пошутить, и достаточно громко посмеяться.

С ужасом я обнаружил в себе однажды что-то больше похожее на раболепие, нежели на простую растерянность.

И тут я вспомнил, что на Кубани я не один, что вместе со мной приехали сюда эти ребята — прорабы и шоферы из Западной, начальники смен и егеря, бульдозеристы и слесари-сантехники, приехали все — и общий отец родной наш управляющей Неймарк, и его зам. Иван Макасымыч, и партком с постройкомом при полном кворуме, и главный диспетчер Никанорыч с шофером Володи.

Мне перед ними вдруг стало стыдно: и правда, как же это к своим друзьям за помощью и за словом поддержки я не обратился чуть раньше?

И теперь, когда я садился где-либо в просторной приемной, то одни из них спокойно устраивались рядом со мною, другие, поглядывая на меня, разговаривали между собою у окна, третьи подмигивали от двери, и под их взглядами я ощущал, как расправляются мои плечи, как под-

нимается выше подбородок, и потом, когда мне надо было войти, то, раскрыв дверь, я не торопился, чтобы все они тоже успели пройти, и в кабинете теперь мне уже надо было часто думать больше о том, чтобы вся эта моя сибирская вольница прилично вела себя, чтобы никто из них не повысил бы голоса — потому как что иначе начнется, если директор нового комбината, наш дед, откроет тут глотку, как у себя на оперативке?

И эти ребята приходили потом и подбадривали меня, когда мне было плохо и почему-то не работалось, и сидели у постели, когда я приболел, и вместе со мною, когда я решил, что хватит, наконец, болеть, они поехали в горы, и они теперь всегда шли рядом со мною по улицам южного городка, и степенные старцы, с которыми я по-прежнему здоровался, наверное, заметили во мне перемену, потому что всегда теперь оглядывались, словно старались отгадать, что же со мною произошло.

И хоть лица их были полны глубокомыслия, в силу возраста они давно уже были подслеповаты, и потому никто из них, конечно, не видел, как рядом со мною шли и ведущие спецы Сибгипромеза, и вертолечники, и шел нападающий Мотя, который отказался из «Металлурга» перейти в ЦСКА, и водитель тягача Гена Саушкин. И шел официант Валера, который на телевизионном конкурсе городов, несмотря ни на что, занял первое место.

Через год или полтора в Москве, когда со старыми друзьями мы собрались посидеть в одном хорошем месте, я рассказал о том, как в незнакомом городе меня спасла вера в сибирское товарищество, и один из нашей компании, человек ума весьма делового и трезвого, с усмешкой проговорил:

— Да, конечно, наши звонки тут были и ни к чему — все дело в этом невидимом простому глазу святом братстве!

А звонки, действительно, были, и мне теперь стало неудобно, и я благодарил, и оправдывался, а он, коснувшись моего плеча, произнес:

— Ты знаешь, как это называется? Ну, все это вот... узы дружбы, святое рыцарство? Мечта о теплой спине. Понимаешь? Просто человек хочет, чтобы спину ему кто-то грел, чтобы она всегда была теплая.

Все ли так, все ли не так — не о том разговор. Сейчас, когда я встретил в автобусе этого озябшего мальчишку, который ехал к своей умирающей матери, мне вдруг подумалось: хорошо, а что «греет спину» ему, который пока не нажил столько друзей и не обзавелся такими связями? В чем такой, казалось, маленький и беспомощный, он черпает сейчас силу?

Положение мое в незнакомом городе было далеко не самое отчаянное. Что ж, если, оставшись без друзей, сам с собою разговаривал я чаще обычного, если многое оценил как бы заново, и меня, выбитого из привычной колеи, вдруг настигло раскаяние в тех грехах, о которых я уже, казалось, не помнил? Что ж, если чаще, чем когда-либо до сих пор, наведывались ко мне те, кто мог надо мною зло посмеяться или посмотреть на меня с презрением, и чаще, в самые неожиданные моменты, вдруг приходил ко мне рыжий Динкович и бросал на пыльную траву под ноги тяжелые, непросохшие от вчерашнего пота перчатки?

Стоило только вскинуть голову, и все обретало другой цвет, и было ясно, что дела мои не так плохи, что многие могли бы мне позавидовать. Но чего только я, и в самом деле, не напридумывал, чтобы обрести душевное равновесие... а он?

Большой мир, от которого ежесекундно зависит каждый волосок на голове у мальчишки, вооружается сейчас, пьет, пляшет, смотрит сентиментальные фильмы, плачет, копается в себе, замышляет убийства... И есть ли ему дело до этого крохотного живого существа, которое не может сделать обманное движение так, чтобы его не разгадало другое существо, тоже очень крохотное по сравнению с бетонными постройками и стальными ракетами?

Или по жестким дорогам этой зимы, по выставшим залам ожидания и занесенным снегом переходным площадкам ведет его самое детство — святая его уверенность в бесповоротности жизни?

Я попытался составить программу действий. Надо будет сказать ему, чтоб обождal, пока я сдам вещи в камеру хранения. Потом быстренько решим с билетами, а после пойдем в привокзальный ресторан, где сейчас тепло и пахнет, небось, борщом, и поедем там горячего, а затем... Сам я раньше ужинать не собирался, но теперь надо будет купить чего-либо к чаю, и мы посидим в купе, и, может быть, мальчишка вздремнет — все-таки в Индюк мы приедем никак не раньше трех часов ночи.

Когда автобус остановился, то, подхватив чемодан и сумку, я живо прошел между пустыми рядами сидений и у выхода стал вслед за ним:

— Толя, может, подождешь меня? Я сдам это... А потом мы хоть чуть погреемся да слегка перекусим.

Он уже сходил вслед за этой женщиной в длиннополном пальто с чернобуркой. На улице тут же поежился, и я сказал, догнав его:

— А ну-ка, застегнись, что это ты!

Он сперва поднес руку к горлу, а потом еще глубже надвинул на глаза козырек кепки, и уши его совсем оттопырились. У меня невольно вырвалось:

— Почему шапку не надел? Есть же шапка.

— Да утром еще была, — он потер уши. — Повесил в раздевалке, потом гляжу — нету. А кепка эта висит, — он оглянулся, заглядывая мне в глаза. — Хорошо, что хоть кепку, да? Я надел и пошел.

Он все прибавлял шагу, и у камеры хранения я ему сказал:

— Погоди. Одну минуту. И мы сразу пойдем.

Он оглянулся:

— Я все думал и думал, дядя... Как мне быть? Что делать?

Я замер, ожидая вопросов, ответить на которые наверняка не смогу.

А он слегка повел плечом.

— Надо мне попробовать еще один финт. Финт, и потом — ответный удар. Чтобы держать его. А то он меня совсем забьет...

У меня отчего-то дрогнули руки, словно вещи мои разом потяжелели.

— Ты подожди. Сейчас я сумку да чемодан...

Он махнул рукой в сторону вокзала:

— Я вас там, дядя...

Как водится в таких случаях, сперва у меня не нашлось пятнадца-

тикопеечных монет, потом выяснилось, что автомат, выдававший чеки, заело. Торопясь, я предложил сам отнести свои вещи на полку, но закутанная в белый шерстяной платок женщина посмотрела на меня с видом вечной мученицы и молча потащила сама сперва сумку, потом чемодан...

Не заходя в кассу, я бросился искать мальчишку. Забежал сперва в зал ожидания, где пахло и человеческим теплом, и пеленками, посмотрел по сторонам, прошел между рядами. Мальчишки нигде не было.

Только теперь я догадался посмотреть, что за состав стоит на втором пути. Это был здорово запоздавший поезд, который должен был идти к морю. Я-то о нем и не подумал, потому что он давно уже должен был пройти, зато мальчишка, может быть, первым делом бросился сюда?

Я посмотрел в обе стороны, решая, куда сперва побежать. И там, и тут никого почти не было видно, но подальше и первые вагоны, и последние пропадали в морозной роздыми, и даже яркие фонари на перроне не могли отодвинуть глухой зимней мглы.

Быстро пошел я к голове поезда, и мне показалось, что впереди, около самых первых вагонов рядом с толстой проводницей стоит крохотная фигурка...

А поезд тихонько скрипнул, словно за это время, пока он стоял тут, на станции, колеса его успели примерзнуть к рельсам.

Я бросился бегом и успел увидеть, как протянулась из двери рука проводницы, как быстренько ступил на подножку мальчишка, который, наверное, наконец, все объяснил и допросился, чтобы его взяли.

Поезд набирал скорость, потом, заматавая снег, рванулся мимо меня последний вагон, и скоро огоньки его сперва смешались со множеством других, которые словно поживались вдали над путями, а потом и вовсе пропали в морозной дымке.

Мне стало и грустно и отчего-то неловко.

Там, в автобусе, я это представил себе и раз, и другой: и как мы с ним сидим за столиком в теплом ресторане, и как пьем горячий чай в уютном купе... Может быть, оттого, что к этой обязанности, которую мне только предстояло выполнить, я как бы привык уже заранее, в голосе моем послышалась ему излишняя властность? Так нет вроде, говорил я с ним очень мягко. Или мама его, которую, конечно же, беспокоят эти поездки, наказывала ему не доверяться чужим людям? А может, он очень спешил и просто ему было не до меня? Кто я для него такой? Толстый усатый дядька с громадным чемоданом и пузатую сумкой, который разговаривал с ним из праздного любопытства.

Тут я подумал: а кто для меня — он?

И я уже знал наверняка: если почему-либо — за поддержкой, за советом ли, затем, чтобы помочь кому-то другому — из страны нашей молодости я опять призову своих друзей, крепких этих, уверенных в себе ребят, преданных нашему товариществу, то вместе с ними придет и этот озябший мальчик, который едет сейчас к своей больной маме...



Снова жить бы начать, да где уж там...
Вот вчера, на исходе дня,
Повстречалась мне славная девушка,
Что взаправду любила меня.

Может, с ней все дела бы направились,
Не такие были б дела..
Жаль, что мне все красивые нравились,
А она — некрасивой была!



Грибное лето на исходе.
Клубят туманы по утрам.
И благодатный дождь нисходит
На заводи таежных трав,
И облаков большие тени
Скользят по розовой стерне..

И непонятное смятенье
Опять рождается во мне.
И не могу я наглядеться
На здешний мир, что так знаком..
И все брожу, брожу, как в детстве,
По теплым тропкам босиком!



Горит огнем рябина золотая,
Рассыпались в осиннике грибы,
И перелетных птиц большая стая
Расселась вдоль дороги на столбы.
Морозен воздух утренний и звонок,
А перейдешь поляну от села

И долго не найдешь никак спросонок
Тропинку, что в тайгу вчера вела..
Покрылось все ковром багряных листьев,
На ветерке малинник шелестит,
А за бугром — то ль хвост метнется лисий,
То ль просто лист калиновый слетит.

ПОЛЕТ НА СБРОС РАЗРЕШЕН

Р а с с к а з

1

В море вздыбленных хребтов гора Кара-Тайга стоит, как остров. Ее вершина, покрытая мхами, видна со всех сторон. Обрывистые северные склоны блестят никогда не тающими снегами, среди которых зубьями огромной пилы торчат, обточенные ветром, черные скалы. Южный склон усеян каменными россыпями — курумами.

Груды скальных обломков обманчиво неподвижны. Предельно осторожным должен быть человек, рискнувший пересечь курум. Ему приходится рассчитывать каждый шаг и перебираться с глыбы на глыбу медленно, не делая резких движений. Ошибаться нельзя, особенно там, где надо протискиваться между камнями — каменные ловушки не выпускают добычу. Среди курумов небольшими пятнами разбросаны альпийские луга. Здесь всегда тихо. Только изредка крикнет заполошенная птица кедровка, сидящая на кустах стланика, да дикий козел дробно процокает точеными копытцами, спасаясь от хищника. Прыгая с камня на камень, он промельнет, как серая тень. И снова виснет над Кара-Тайгой нерушимая тишина.

«Дурной камень», — называют люди это место с давних времен и стараются обходить его стороной. Даже лакомка медведь не живет летом на Кара-Тайге, хотя почти каждый клочок земли между камнями густо зарос черникой, а поверхность мха узорчато расписана красными ягодами брусники.

Он появляется здесь поздней осенью и, отыскав в диком нагромождении глыб потайную яму, прикрытую от дождя и снега, устраивается на зимовку.

Зверь знает, что сюда никто не придет. Двухметровое снежное покрывало будет надежно согревать и охранять его до весны.

Горе тому, кто осмелится нарушить покой хозяина тайги. На чистом, без единого деревца склоне, покрытом плотным снегом, спрятаться невозможно, а «неповоротливый» медведь, даже будучи тяжелораненым, не уступит в скорости бегущей лошади. Говорят, что давным-давно один смелый охотник, приметив с лета берлогу, зимой ушел на Кара-Тайгу с собакой и не вернулся. Собака приковыляла домой на пятый день. Сломанная задняя нога волочилась по снегу, оставляя глубокий след. Этот след вывел людей к тому месту, где кончается лес и начинается «дурной камень».

Одинокие приземистые крепыши кедры, умершие на корню, но крепкие, как слонобая кость, почти вплотную подступали к высокому скальному обрыву, за которым, скрытый под снегом, лежал курум. След оборвался возле кедра-мертвеца с торчащими редкими сучьями. На одном из них нанизанный, как перепел на спицу, висел охотник. Острый конец крепкого сучка, покрасневший от крови, торчал между лопаток погибшего. Надежно привязанные к ногам камузные лыжи повисли в трех метрах от снега. У основания кедра стволами вверх из снега торчала двустовка.

Охотника похоронили возле скалы, заложив его тело камнями. С тех пор эту скалу местные жители называют «Черный Саван», и нет на ней ни троп ни дорог.

Время сравняло каменную насыпь над телом охотника, а сухой кедр, как памятник, стоит до сих пор.

В пасмурный летний день к подножию Черного Савана пришел человек. Он был одет в потрепанную брезентовую куртку, распахнутую на груди, и такие же брюки, заправленные в высокие резиновые сапоги.

Из-под широких полей клеенчатой шляпы, небрежно сбитой на затылок, кучерявилась густая черная борода, на потном лбу кольцами липли влажные волосы. Прихрамывая и тяжело дыша, он подошел к скале и отбил молотком небольшой образец породы. Внимательно осмотрев свежий излом, он взвесил образец на ладони и снова застучал молотком по скале. Все образцы были похожи друг на друга, как родные братья.

Человек погладил шершавую поверхность скалы и, устало улыбаясь, негромко и буднично сказал:

— Что и требовалось доказать.

Бросив тяжелый рюкзак возле одинокого кедра, он достал из левой сумки горный компас и карту, свернутую по размеру сумки и сильно потертую по углам.

Посмотрел на лихорадочно прыгающую стрелку компаса, сложил трубочкой толстые красные губы и удивленно присвистнул:

— Ну, братец, так нагло ты еще никогда не врал.

Весь день стучал молоток, будя блуждающее эхо гор. Человек работал без отдыха, изредка оставляя молоток и делая пометки в толстой записной книжке. К вечеру в ней можно было прочитать:

«Точка номер 7533 расположена в пятистах метрах от точки 7532 по азимуту десять градусов. В точке 7533 — скальный выход длиной

восемьдесят четыре метра и высотой от 10 до 20 метров, расположенный поперек склона и ориентированный с востока на запад. Титаномagnetитовое габбро, слагающее весь выход, в основном — среднекристаллическое, полосчатое. В центральной и западной части обнажения наблюдаются крупные шлировые выделения титаномagnetита размером до 5—6 сантиметров в виде пятен неправильной формы, не имеющих четких границ. Считаю, что в общем весь выход — титаномagnetитовая руда».

Описание скального выхода занимало шесть страниц и сопровождалось зарисовкой, на которой стрелками были показаны места взятия образцов и проб.

2

Пробираясь по узкой извилистой тропе на участок работ, главный инженер Саблин и начальник партии Голубев миновали последнюю стайку березок у основания Черного Савана, далеко позади оставили за собой стоящий в дозоре кедр и вступили в царство камня.

— Такого я еще не видел, — признался Голубев, оглядывая бесконечные гряды каменных обломков, громоздившихся друг на друга. — На Царь-Камне такой курумник встречается лишь в отдельных местах. А здесь — настоящее каменное море.

— Да, тут не разгонишься, — подтвердил Саблин. — Сейчас мы идем, где поработал аммонит, а если напрямую, то проклянешь все на свете.

— Леонид Михайлович, ты знаешь, что в скором времени вертолеты будут выпускаться в промышленных масштабах?

— Знаю и надеюсь, что тогда мы капитально оседаем Кара-Тайгу. Здесь, среди этого каменного безобразия, есть отличные альпийские дуга — ровные и чистые. Вертолет будет садиться и взлетать без помех. Мы можем завезти все, что надо, прямо к месту работ. А пока...

— Пока мы будем ползать по этим камням и набивать себе синяки и шишки, — с досадой сказал Голубев, поднимаясь и потирая ушибленную ногу. — Как же Снегирев протащит оборудование для дробилки?

— У Афанасия Егоровича есть любимая поговорка, — засмеялся Саблин. — Глаза боятся, а руки делают.

— Силен дед, — похвалил Голубев. — Я бы сам никогда на это не решился. Один неверный шаг и... У любого душа уйдет в пятки. Думаю, что переноска ступ будет очень опасна. Надо придумать что-то другое.

— Что еще остается, Владимир Андреевич? Ступу не разберешь на части, а весит она около сотни килограммов. Вот если бы завербовать вертолет на один день, но они пока что считанными единицами выпускаются.

— Стоп, Леонид Михайлович, в этом что-то есть. Тебе же приходилось принимать с самолета груз на сброс.

— Первый раз слышу.

— Это дело верное. Нужна договоренность с летчиками, а делается это просто. Мы принимали на Царь-Камне на сброс продукты. Правда, от мешка с мукой иногда оставалась одна третья часть, но ведь ступа не мука — не разлетится по ветру.

— Может и разлететься, кругом камни.

— Но если сбросить точно на луг, ничего с нею не сделается.

— А если пилот ошибется и долбанет ступой по курумнику?

— Другого способа доставить не вижу. Прошу тебя, Леонид Михайлович, завтра пораньше отправиться в Кедровку и договориться с летчиками. Такие рейсы стоят дороже, но что делать!

— Владимир Андреевич, еще неизвестно, чем кончится дело с больными лошадьми, а я добавлю на свой счет разбитые ступы. Я ведь теперь тоже ученый.

— Не волнуйся: за ступы отвечать буду я. Место сброса обозначим на местности знаками. Лучше рисковать чугунной ступой, чем живым человеком.

3

Хорошая погода с ночными заморозками и ясными солнечными днями внезапно испортилась: с хмурого осеннего неба сыпалась крупа, иногда срывался снег. Хлесткий порывистый ветер крутил его по поселку, загоняя в трещины между камней, в ямы и промоины.

Гулко стонали под ветром березы, теряя листья, прижимаясь друг к другу голыми ветвями.

Истекал четвертый день после поездки Саблина в Кедровку, а ответа от летчиков не было. Голубев несколько раз заходил к радисту, подолгу простаивал в тесной каморке, слушая певучий голос морзянки.

Видя его нетерпение и чувствуя себя в чем-то виноватым, радист нервничал, торопился, но ответа не было.

Вернулся с участка Саблин. Отогревая возле печки озябшие руки, сочувственно поглядывал на Голубева, молчал.

— Не везет нам, Леонид Михайлович, — пожаловался Голубев. — Молчат наши авиаторы, будто сквозь землю провалились, а погода портится.

— Что же теперь делать? — спросил Саблин.

— Ждать.

— У нас нет времени ждать, Владимир Андреевич. Надо твердо определиться с пробами. У нас сейчас появилась возможность еще раз попытаться сделать хорошую тропу через курум. Матвеев сумел выпросить в аренду здоровых лошадей в леспромхозе и организовал перевозку взрывчатки. Но ведь сегодня уже восьмое сентября. Скоро зима. Ты слышишь, как шумит ветер?

— Ветер восточный, — успокаивая не столько Саблина, сколько себя, сказал Голубев, — а он обычно сухой, без осадков. Я уверен, что особой беды он не принесет. Но почему молчит аэродром?

— Владимир Андреевич, вас к аппарату, — позвал из-за перегородки радист.

«Подтвердите сию наличие знаков площадке сброса, — читал Голубев. — Завтра наличия погоды обеспечьте представителя, груз Кедровке. Полеты сброс разрешены. Командир экспедиции».

Радист кончил прием, положил руку на ключ и вопросительно глянул на Голубева.

— Площадке установлены угловые и центральный знаки, — диктовал Голубев. — Груз Кедровке. Представителя пошлем наличия погоды. Голубев.

Потом решали, кого послать в помощь летчику.

— Груз на сброс обычно крепится простой веревкой на крыльях самолета, — объяснял Голубев. — Две ступы потянут почти на двести килограммов. Это — допустимая нагрузка на самолет. Каждый килограмм свыше двухсот надо согласовывать с пилотом. Поэтому желательно послать сопровождающего в весе мухи. В тот момент, когда самолет перейдет на бреющий полет над площадкой, он вылезет по поясу из кабины, ножом разрубит веревки креплений, и ступы упадут вниз.

— Но это, наверное, опасно? — спросил Картошин, щуплый, невысокого роста техник-геолог.

— Опасно для тех, у кого кружится голова, — пояснил Голубев. — На всякий случай человека, сопровождающего груз, привязывают.

Картошин на секунду закрыл глаза, представляя, как он повиснет над бортом самолета. Перед его глазами со страшной скоростью мелькали острые глыбы курумов и корявые стволы мертвых кедров. Сидя на скамье, Коля почувствовал, что голова кружится так, словно он уже вылез из самолета. Он крепко схватился обеими руками за край стола и открыл глаза. Голубев и Саблин склонились над планом, выбирая площадку для сброса, и не обращали на него никакого внимания. Побледневший Картошин сглотнул слюну, выдвинул вперед нижнюю челюсть и храбро заявил:

— Владимир Андреевич, я сброшу груз с самолета.

— Отлично, Коля! — похвалил Голубев, не оборачиваясь и не видя огромных испуганных глаз Картошина. — Я и хотел доверить тебе это дело, потому что легче тебя в поселке никого нет.

Саблин удивленно глянул на Картошина, но Коля уже передвинулся в тень, скрывая свои глаза.

— Итак, Леонид Михайлович, — отвлек Саблина Голубев, — завтра, если будет хорошая погода и сойдет снег, надо как следует оконтурить площадку знаками, которые мы сделаем из белых простыней. Если же снег не сойдет, то знаки мы выложим из черных матрацовок. Необходимо убрать людей не только с подготовленной площадки, но и со всей поляны. Тебе следует завтра перевести всех горняков на другие разведочные линии. На площадке с начала и до конца полетов мы будем с тобой вдвоем. Надеюсь, Картошин не разбомбит нас, памятуя о том, что мы его начальники.

Саблин промолчал, Картошин криво улыбнулся. Возбужденный

ожиданием решающего дня, Голубев не заметил некоторой неловкости на лицах своих товарищей и продолжал с подъемом:

— В ваши руки, Николай Васильевич, вручается судьба Кедровской геологопоисковой партии. Запомните эту минуту.

Коля спрятал за спину вздрагивающие руки, в которых он уже держал судьбу партии, и чужим голосом обещал запомнить эту минуту.

Голубев написал летчику записку, удостоверяющую личность Картошина и, переходя на будничный тон, попросил:

— Ложись-ка, Николай Васильевич, спать. Завтра тебе надо проснуться чуть свет и маршировать в Кедровку. Лошадь дать не могу. Сам знаешь, что почти все кони больны.

— Не беспокойтесь, Владимир Андреевич, я быстро доберусь до аэродрома, — заверил Картошин.

— Только не вздумай идти в темноте по прямухе, — строго предупредил Саблин, — а то придется нам снаряжать отряд для поисков заблудившегося техника-геолога.

— Нет, нет, вы не беспокойтесь: уйду по конской тропе.

— То-то, — добродушно ухмыльнулся Саблин.

«Лишь бы не проспать, — волновался Картошин, вытягиваясь в спальном мешке, — а то подведу всех».

Словно угадывая его мысли, Голубев сказал:

— Спи спокойно. Я разбужу тебя точно в пять часов.

— Владимир Андреевич, пойдем проверим погоду, — предложил Саблин, — кажется, ветер стихает.

По единственной улице Снежного по-прежнему мела поземка, лизала стены домов, настойчиво царапалась в двери. Но облачность рассеялась.

По небу, усыпанному крупными мохнатыми звездами, мчались редкие клочья облаков. Свирепый восточный ветер рвал их на части, и они таяли на глазах.

— Твоя взяла, Владимир Андреевич, — признался Саблин, — восточный ветер нам не враг, и к утру погода будет.

— Должна быть, — согласился Голубев, зябко передернув плечами, и направился к дому.

— Подожди минутку, — попросил Саблин. — Я ведь неспроста позвал тебя среди ночи на улицу: не хочется мне посылать завтра Картошина на помощь летчику. Я обычно говорю все, что думаю, прямо, не считаясь ни с чем, но здесь случай особый: Коля страшно самолюбив и в то же время слаб и неловок. Я всегда стараюсь уберечь его от подобных экспериментов, а он лезет прямо к черту на рога и...

— И правильно он поступает, что берется за трудное дело, — сказал Голубев. — Когда-нибудь ему все равно придется начинать.

— Да это я понимаю, но уж больно он мягок характером и неуверен в своих действиях — настоящий маменькин сынок. А каждую свою неудачу он переживает мучительно и долго. Вот и я стараюсь уберечь его от опасных поручений. Потихоньку приучаю к трудностям.

Саблин придвинулся вплотную к Голубеву, стараясь заглянуть ему в глаза.

— Что же ты молчишь, Владимир Андреевич?

— Я с тобой не согласен, — твердо ответил Голубев, глядя в упор на Саблина. — Здесь не плавательный бассейн, где опытный тренер обучает новичков держаться на воде на мелком месте. Здесь обрыв и сразу глубина. Толкать в глубину мы его, конечно, не будем, но если он сам туда лезет, удерживать не стоит. Надо только присматривать и в трудную минуту помочь — не дать захлебнуться. Подумай, и ты согласишься.

— Я-то, может быть, и соглашусь, — загорячился Саблин, — а вот мать его не согласится никогда. Она прислала мне письмо, в котором закликает беречь сына. Коля-то у нее — единственный ребенок, и она мечтала, что будет всю жизнь вместе с ним. А он, — Саблин ласково улыбнулся, — начитался книжек и против воли родителей поступил не куда-нибудь, а в геологоразведочный техникум. А при распределении сам попросился в нашу дыру. Как это тебе нравится?

— Очень нравится, Леонид Михайлович. — Ты только не нервничай. Уверю тебя, что в подобных случаях все матери поступают одинаково и переубедить их невозможно. Я знаю, что и твоя мать беспокоится о тебе не меньше.

Раздеваясь в жарко натопленной комнате, Голубев видел, как Саблин бережно прикрыл клапан Колиного мешка и поправил подушку.

4

Самолет появился над Кара-Тайгой только во второй половине дня, когда полностью стих ветер. Он прошел над поселком, встревожил собак, бросившихся с лаем за неведомой птицей, и закружился над месторождением, постепенно снижаясь.

— Ну, Михайлович, — сейчас или никогда, — взволнованно сказал Голубев, не отрывая от самолета тревожных глаз.

Пилот повел самолет к вершине Кара-Тайги и, развернувшись над ней, устремился вдоль центральной разведочной линии на площадку, обозначенную растянутыми поверх снега черными полотнищами матрацов.

Они видели, как сдвинулся назад плексигласовый колпак пассажирской кабины и высунулась голова Картошина. Оттененное темной бородкой лицо его было белым, как снег. Коля перегнулся над бортом, протянул к крылу руку, в которой держал длинный охотничий нож. Самолет плавно снижался, словно шел на посадку.

— Ну, давай! — не вытерпел Саблин.

Мелькнуло затянutosе шлемом напряженное лицо летчика, сверкнул в руке Картошина острый нож, и первая ступа шлепнулась в снег. Картошин перебросил свое тело на другой борт, и вторая ступа упала в конце площадки. Самолет прыгнул вверх и, качнув крыльями, пошел в сторону Кедровки.

— Вот это работа! — восхищенно причмокнул губами Саблин.

За полтора часа в районе центральной разведочной линии были сброшены все пять ступ и десятиместная палатка.

— Сегодня же к ночи дробилка будет на ходу, Владимир Андреевич, — радостно смеясь карими глазами, заверил Саблин. — Я сейчас же организую людей. Твоя забота подыскать дробильщиков. Разворачивайся, начальник, не задерживай моих горняков на этой работе, иначе — грош цена всей этой затее. Одна смена нам ничего не даст.

— Постараюсь, товарищ главный инженер, — пообещал Голубев, направляясь в поселок.

Саблин вернулся домой, когда на Кара-Тайгу уже опустилась ночь.

— Ну, где спаситель Кедровской партии? — спросил он, еще не успев раздеться.

— Картошин не вернулся, — сообщил ему Голубев. — Наверное, сильно устал парень. Он же сегодня с пяти часов на ногах, а туда и обратно сорок километров.

— Не может быть, чтобы он сегодня не пришел домой. Ты его не знаешь. Сегодня Николай Васильевич Картошин — герой дня. Он сейчас цветет и пахнет. Я представляю, как он будет расписывать нам свои подвиги.

К великому удивлению Саблина, Картошин, явившийся часом позже, о своих подвигах не распространялся. Устало подволакивая ноги, он прошел к умывальнику и тщательно вымылся. Ужинать герой дня не захотел, сославшись на то, что крепко закусил в Кедровке. Напрасно пытался Саблин расшевелить Картошина и заставить выпить хотя бы кружку чая. Коля наотрез отказался и рассказывать ничего не стал. Не мог же он объяснить Саблину, не знающему чувства страха, что после первого рейса его стошнило от пережитого волнения, что он прятался от летчика за складом, боясь как бы тот не увидел это позорное явление и не отказался лететь с ним во второй раз.

Нет! Нет! Картошин скорее согласился бы сейчас умереть, чем признать в своей слабости Саблину.

Поэтому он молча выслушал благодарность Голубева, шуточные поздравления Саблина и, не раздеваясь, прилег на топчан, мысленно кляня себя за то, что не может рассказать правду. Ныли натруженные за день ноги, слегка побаливала голова.

«Неужели я трус? — спрашивал себя Картошин, пристально глядя на разошедшийся дощатый потолок. — Почему я боюсь рассказать им все как было? Ступы я сбросил и страха особого при этом не испытывал. Все произошло так быстро, что я не успел испугаться. Страх пришел позднее, когда я попытался мысленно увидеть себя со стороны. Стоп, товарищ Картошин! Значит, у тебя большое воображение и ты просто псих. И откуда ты взял, что Саблин и Голубев будут над тобой смеяться? Надо подходить ко всему проще, надо рассказать, как меня вывернуло наизнанку, как меня и сейчас начинает мутить, если вспомнить этот полет. И никакой я не герой, а самая настоящая тряпка, потому что боюсь рассказать правду. Чтобы быть сильным, надо быть честным. Надо быть таким, как Леонид Михайлович. Он никогда не врет, и за это его все любят, и я люблю. Но как мне решиться, как это сделать? Самое главное — как начать?»

Картошин даже скрипнул зубами и сел на топчане.

Саблин сидел за столом в одних трусах и с увлечением читал детективный роман. Герой романа, очевидно, попал в какую-то невысказанно сложную переделку, потому что толстые добродушные губы Саблина были плотно сжаты, а заросшая курчавым темным волосом грудь бурно поднималась и опадала в такт дыханию.

Голубев, как всегда, сидел возле печки, задумчиво смотрел на угасающий огонь и пошевеливал тонким прутиком оставшиеся угольки.

Картошин присел рядом с ним, сказал вполголоса, глядя в сторону:

— Владимир Андреевич, дайте мне, пожалуйста, закурить.

Зная о том, что Картошин курит от случая к случаю, Голубев насторожился: «Что-то у парня неладно».

Не говоря ни слова, он подал начатую пачку «Беломора» и горящий прутик, которым мешал в печке угли.

Неумело попыхивая и почти не глотая дым, Коля прикурил и сразу закашлялся.

— Владимир Андреевич, — начал Коля издали, — вам приходилось самому летать на сброс груза?

— Было дело, — осторожно ответил Голубев, незаметно оглядывая осунувшееся лицо Картошина, глубоко запавшие глаза и окаймляющую их синеву.

— Вы знаете, Владимир Андреевич, мне после первого рейса было так плохо, что меня стошнило. А это значит, что я никуда не поеду.

— Вот чудак, — как можно натуральнее удивился Голубев, — да это же обычное дело и случается абсолютно со всеми, кто летит в первый раз на сброс груза. Я еще вчера хотел тебя предупредить об этом, да как-то позабыл.

Видя, как встрепенулся Картошин, Голубев продолжал, слегка покривив душой.

— Я после первого полета на сброс неделю не подходил к самолетам. Как гляну, так в голове все вверх ногами. С большим трудом переломил себя во второй раз и то потому, что некого было посылать с летчиком. А некоторые после такого испытания вообще предпочитают передвигаться только по земле. У тебя, Коля, исключительно крепкие нервы, если ты сразу смог взять себя в руки и полететь вторым рейсом. У тебя не нервы, а стальные канаты. Сейчас тебе можно даже с парашютом прыгать без всякой тренировки.

— Вы серьезно, Владимир Андреевич?

— Серьезнее нельзя, Николай Васильевич. Тут все дело в том, чтобы суметь побороть страх. Если ты в силах это сделать, то в следующий раз тебе будет уже легче в любом трудном положении. А если сидеть и вспоминать, как тебе было страшно, то ты испугаешься еще больше. И не травмируй себя. Пугаются все. Разве какой-нибудь сумасшедший не знает, что такое страх. Мне однажды пришлось переходить в большую воду по упавшему дереву одну бешеную речку вместе с собакой. Собака подошла к дереву, понюхала, покрутилась возле него, поджала хвост и дальше ни шагу. Речка не очень широкая — всего метров десять-двенадцать, но чуть ниже бревна — водопад. Я перебрался благополучно, а собака осталась на другом берегу. Сидит у

этого проклятого бревна и воем. Пришлось оставить рюкзак, ружье и возвращаться назад. Взял я своего пса на руки и пошел по дереву в третий раз. Земля уже была совсем рядом, когда я увидел, что вода поднимает конец бревна и плавно отводит его от берега. Собаку я бросил на берег, а сам успел ухватиться за кусты тальника и вылез удачно. Никакого страха я не испытывал. Но когда увидел, как корезит и треплет водопад мое бревно, ноги у меня задрожали от страха и я чуть не свалился назад в реку. А сколько таких случаев было у каждого из нас.

— А я думал, Владимир Андреевич, что я — отъявленный трус, — облегченно вздохнул Коля.

5

В пачке служебных и поздравительных радиogramм к Новому году Голубев нашел одну и от Саблина:

«Анализы получены все. Результаты полностью подтвердили наши предположения: среднее промышленное содержание металла руде доказано. Отчет поисковых работ принят. Есть решение переходе предварительной разведке. Прошу отпуск семь дней без содержания счет очередного. Поздравляю праздником. Целую всех. Саблин».

Отшумели первые метели, укутали двухметровым слоем снега Кара-Тайгу. Прибитый ветром, спрессованный собственной тяжестью, он лежит, скрывая под собой каменный хаос курумов. Кипенно-белое покрывало в ясный день блестит под лучами солнца, слепит глаза, выжимая из них слезы. В это время на Кара-Тайге, кроме белых куропаток, ничего живого нет. Собравшись в стайки по шесть, восемь штук, они кочуют днем у границы леса, оставляя на снегу кружевную россыпь следов, а на ночь зарываются в снег. Огромными черными клыками торчат из снега источенные ветром скалы на вершине Кара-Тайги и стынут под ледяным дыханием неба. И некому оценить черно-белую траурную красоту вершины гольца и первозданную тишину. Так было всегда.

Сейчас серебряный панцирь Кара-Тайги исчерчен лыжными следами, пробит во многих местах шурфами. Каждый день с темна до темна грохот взрывов тревожит сердце гор, рождая беспокойное эхо. Ночной ветер гонит поземку, зализывает раны на теле Кара-Тайги, но уже с утра тянется от поселка паутина лыжных следов. Скрапит под широкими лыжами скованный сумасшедшим морозом снег, отсвечивает ослепительными вспышками под лучами солнца, а люди упрямо идут каждый день на участок, чтобы вечером на рабочем плане месторождения обозначить условным знаком вскрытую руду. Все больше и больше появляется на плане этих знаков и меньше остается белых пятен.

Александр Зайцев

ДЕРЖИСЬ, КИЯ!

1. СВОЯ ВОЛГА

Река несла с неодолимой силой. Она затягивала в жерло ревущего перекага, и казалось, что сидишь ты уже не в легкой и надежной резиновой лодке-вездеходе, а катишься с крутой снежной горы на узких санках. И названия-то у перекагов: Сердитый, Лихой, Кипучий, Бандитский, Косой, Лохматый, Шахматный. До ряби в глазах вглядываешься вперед, в высокие волны, в белые от ярости буруны и в молчаливые серые доты торчащих из-под воды огромных камней. Очень часто висят на них припечатанные рекой плоты. Опасные места!

Но вот за перекатом — тихий и светлый, как хрусталь, плес. Под лодкой на глубине в 3—4 метра виден каждый камушек. Иногда сладко, будто во сне, захватывает сердце: кажется, нет под тобой никакой реки, никакой воды, а плывешь ты в этом чистом, до невероятности прекрасном мире прямо так, по воздуху. И названия у плесов совсем уже другие: Бархатный, Беличий, Золотой, Мраморный, Талановский, Белокаменный...

Мы черпаем кепками воду и с наслаждением пьем: такую в Кемерове вместо газировки по пятаку за стакан — отбою бы от любителей не было. Позади над зеленой долиной видна синяя, с ослепительно-белой шапкой громадина Большого Таскыла. Впе-

реди из-за поворота разворачиваются сказочные города и замки скалистых берегов.

Без малого шестьдесят лет прожил на реке Петр Николаевич Овчинников, председатель комитета профсоюза Бериккульского рудника. Бывал на Алтае, на юге, на востоке. А красивей Кии реки не видел.

Мы ночуем у костра на берегу кийского плеса Старая Мельница. Это — в среднем течении реки, у села Шестаково. Почти до рассвета рассказывает о своей нелегкой службе подполковник в отставке Владимир Иванович Пухов. Он уже не молод. Но среди нас слывет самым веселым, любознательным, легким на ногу.

На заре глухо бухает на плесе пудовый таймень, низко-низко над рекой поднимаются с обширных Шестаковских болот учебные стаи молодых журавлей, пробующих крылья перед дальним перелетом на юг.

— Скажи, видел ты что-нибудь подобное?! — восхищается Пухов.

Попробуйте возразить словом, жестом, и заведется старый, прочтает восторженный монолог о Кие, когда она, вырвавшись из горных распадков, широко и прихотливо разбегается по неоглядной Чумайской долине сотнями плесов, проток и стариц...

На всю жизнь полюбил Кию инженер с Запсиба Владимир Николаевич Колюбакин. Каждый год проводит он отпуск в таежной деревне. А в прошлом году плыли мы с

ним по Кие до самого северного в области села Туила. Над рекой кружили быстро привыкшие к нам чайки. Их на Кие, как на море. Иссиня-темные пихтачи и ельники, разукрашенные рубиновой россыпью рябин, сменялись серебристой просинью тальников и топольников. Здесь река широкая, тихая, словно до краев наполненная. Впереди, сзади, рядом с плотом на голубовато-зеленой, как лазурный малахит, глади расходились большие круги...

Через час мы причалили к Туйлинской переправе. Закрепили шестью плот, сложили на палубе весла, доски и сухую бересту — пусть достанется славный «корабль» доброму человеку.

А еще через полчаса уже угощали вяленой рыбой своих давних друзей — председателя Туйлинского сельсовета Махмуда Сабировича Ахметзянова и начальника местного аэропорта Хасана Аксановича Яппарова.

— Куда в будущем году собираетесь? — спрашивал Махмуд Сабирович.

— Не знаю... Подремонтиться не мешало бы, на курорт путевку обещают, — отвечал Колубакин.

Под крылом самолета крутила и путала свои неисчислимые кольца голубая Кия, хитроумно увивая от сотен синих озер. Мы прилипли к иллюминаторам. Мы прощались с рекой, как с самым дорогим, самым любимым существом.

— Никаких курортов! — решительно, как клятву, тихо произнес вдруг Владимир Николаевич...

Говорят, что у каждого человека должна быть своя Волга. Любимой, родной рекой становится Кия год от года все большему числу людей. Мне приходилось встречать на ее берегах жителей всех городов Кузбасса, туристов из Томска, Новосибирска, Москвы, Ленинграда.

Но не только за горную и таежную экзотику, за неповторимые рыбацкие зори любят реку местные жители.

В верховьях моет Кия для них золото и доставляет из глубины тайги лес. В сред-

нем течении питает водой десятки населенных пунктов и крупные предприятия пищевой промышленности. Здесь же Кия служит своеобразным «детским садом» для Оби. На дне широких синих плесов нерестится в реке обская нельма. Миллионными полчищами скатывается ежегодно в низовья Оби молодь этой прекрасной царицы сибирских рек — родной сестры почти полностью уничтоженной волжской белорыбицы.

А в низовьях реки, на Колеульских, Туйлинских и Окунеевских песках и ямах нагуливают вес могучие двухпудовые осетры и шустрая стерлядь.

Река служит людям много лет. И долгие годы не иссякала ее щедрость. До тех пор, пока не начали отбирать у нее люди самое необходимое. В ответ на эту черную неблагодарность скупее стала река. Поубавилось у нее трудолюбия, как у того человека, которого лишили питания и отдыха, нужного для восстановления сил. И все-таки Кия еще полна жизни и прелести. Она не идет ни в какое сравнение с Томью, превращенной промышленными предприятиями в простой водоем с «технологическими гидроресурсами», со всеми другими более мелкими реками, в большей или меньшей мере опустошенными промышленными сбросами, сплавом и другими подобными, опасными для живой природы операциями.

Кие повезло. На ней нет пока крупных химических, металлургических, угольных предприятий.

Она оказалась вдруг в разгар бурного промышленного освоения Сибири в исключительном географическом положении.

Посмотрим на карту. Обь в районе Новосибирска перегорожена плотинами. Куда идти на нерест ценной лососевой и сиговой рыбе с низовьев реки? В загрязненную промышленными сбросами Томь она не свернет. Единственное место для нереста — Чулым с его притоками. Только и на Чулыме немало труднопреодолимых барьеров. Главные из них — Ачинский глиноземный комбинат и Назаровская ГРЭС. Но значитель-

но ближе на пути огромных косяков рыбы — чистая, глубокая, многоводная Кия.

Рассматривая карту, мы невольно приходим к выводу: чтобы не иссякали в Оби запасы нельмы, осетра, стерляди, чтобы не перевелись на студеных перекатах таймень, ускуч и хариус, нужно сохранить Кию... Ее очень важно сохранить не только для кузбассовцев, а вообще для сибиряков — рекой в полном смысле этого слова. Ее в тысячу раз легче сохранить, чем многие другие реки области. Потому что сохранить всегда легче, чем восстанавливать. Надо начинать с этого малого. Не через год, не завтра. А сегодня, сейчас...

2. ОПАСНЫЕ ПИГМЕИ

Реска несла нас по диким перекатам и тихим плесам. Сотни мелких ручьев, светлые и холодные речки Растай, Федоровка, Громотуха, Талановка с шумом и грохотом катились в Кию, и она, на глазах наливаясь, становилась все шире и величественнее. На карте верхняя горная Кия очень походит на изображение длинного корня какого-то растения. Неисчислимой сетью корешков-ниточек — ручьев и ручейков — собирает она родниковую студеную воду с гор и лесов.

Но вот справа крупнейший приток — Большой Тулуял. Вода его напоминает цветом мутно-белый дешевый кофе захудалой закуской.

Теперь несколько дней нас будет сопровождать у правого берега реки непроглядно-грязная полоса воды. А через 56 километров еще более грязный поток — река Кундат — вольется в Кию слева. И удивительное дело: в реке, не имеющей на своих берегах ни одного химического предприятия, у Макарака, за 100 километров до города уже можно будет уловить загрязняющие воду примеси. Откуда грязь, откуда характерные только для промышленных районов вредные органические отходы производства?

На реке Большой Тулуял все прошлое лето работала артель старателей. В районе рассказывают, что бригадир постоянно проживает в Одессе. В различных городах юга страны безбедно зимуют остальные члены артели. На лето они съезжаются в Тисуль и, заручившись договором с Центральным рудником, начинают потрошить ручьи и реки. Это далеко не патриархальная старательщина с бутарой и пузырьком ругти. Бригада получает на руднике несколько мощных бульдозеров и автомашин. С помощью этой техники «старатели» обрушивают и перемыкают берега, переворачивают все дно, окончательно уничтожая реку. В Тисульском райкоме партии мне рассказывали, что работа бригады далеко не всегда поддается контролю. Все это происходит благодаря равнодушию комбината Запсибзолото к природе края, благодаря беспечности местных властей.

Начальник Кемеровского участка Обь-Иртышской бассейновой инспекции, следящей за чистотой водоемов области, Андрей Константинович Гришаев считает, что существование подобной бригады незаконно и противоестественно. Любые, даже незначительные работы на реке и ее притоках могут осуществляться лишь по проекту, утвержденному бассейновой инспекцией. У Центрального рудника и комбината на старательские работы проекта нет. А подобные проекты обязательно предусматривают устройство простейших отстойников, осветляющих воду. Это хорошо известно исполкому районного совета и руководству Центрального рудника. Впрочем, в нынешнем году частники-старатели решили перекопать самое Кию на местах бывших приисков и старательских поселков...

Второй мутный поток — на Кундате — опять приводит в кабинет директора Центрального рудника Виктора Михайловича Елегечева.

Помимо добычи рудного золота, предприятие моет пески на Кундате и его притоках драгами. Работа здесь ведется с грубейшим нарушением технологии. Перед пу-

ском драги в русле ручья или реки полагаются приготовить дражный полигон. То есть перегородить речку с таким расчетом, чтобы мутная вода успевала отстаиваться и уже осветленной выходила в русло в дальнем от драги углу запруды. Никаких полигонов золотодобытчики Центрального рудника для своих драг не готовят. А могут прямо в русле реки, действуя, по существу, теми же хищническими методами, что и залетные любители длинного рубля.

Но и на этом не кончаются беды мелких рек. В один из притоков Кожуха без всякой очистки сливаются отходы золотоизвлекательного завода. А в них тот самый циан, ампулу с которым надкусывают в детективах пойманные с поличным шпионы и диверсанты. Конечно, циан попадает в Кожух не в той роковой для шпионов концентрации, но ниже заводского сброса воду не берут даже для стирки.

Уже несколько лет на Центральном руднике строятся очистные сооружения. К концу 1971 года на них было затрачено 230 тысяч рублей. В 1972 году планировалось вложить остальные 226 тысяч и сдать очистные в эксплуатацию. Но рудник освоил за год лишь 27 тысяч рублей.

В. М. Елегечев прислал в Обь-Иртышскую бассейновую инспекцию обнадеживающее письмо. Однако рудник — шахты, драги и завод — продолжает работать по-прежнему. И по-прежнему изо дня в день беспрерывно льет в реку грязь и вреднейшие отходы производства.

Невдалеке от места впадения Кундата в Кию начинается живописнейший Белокаменный плес. Огромный столб «Великан», грандиозная «Китайская стена», неприступный «Замок», дружные «Отец и Сын», гордый «Одинокий» привлекают туристов, остров Зеленый — излюбленное место берикульских и тисульских рыбаков. Но появляются здесь любители экзотики и рыбалки непременно в воскресенье после обеда. Именно к этому времени успевает отстояться и просветлеть вода, идущая из

притока Кии, с вечера пятницы, когда работники Кундатского участка и драг уходят на двухдневный отдых. Полвоскресенья, весь понедельник и полвторника отдыхают две реки — маленькая и большая. В конце периода у Зеленого появляется таймень, в устье Кундата заходят робкие стайки мелкого хариуса-прыгунка.

Но вот снова заволакивают кристальную воду рыжие тучи грязи. Захлебывается ею, задыхается хариус и поспешно поднимается вверх по Кие, подальше от гиблого места. Покидает облюбованные было укрытия на каменистом тягуне-перекате таймень. Так и не просветлеет уже левая половина Кии до следующего крупного притока, Кожуха, который мутят и золотодобытчики, и лесозаготовители. Эта река для них (некогда прекрасная, чистая, очень рыбная река) — и сплавная артерия, и дорога, и место свалки. По реке и притокам уже после сплава треляют хлысты, перевозят разделанную древесину, сваливают в воду отходы.

Мне рассказывали, что вода на Пикетовском ключе, впадающем в Кию, и хариусы, пойманные поблизости, пахнут соляркой. Оказывается, в верховьях ключа лесозаготовители устроили склад горюче-смазочных материалов. Такой же склад у самой воды — на реке Московке, рядом с поселком лесозаготовителей. Сотни килограммов горючего и масла люди не задумываясь сливают в речку. Вот и еще откуда в реке вредные и, казалось бы, неожиданные для нее примеси.

В верховьях Кии мы не раз видели пустоши, оставленные после себя лесозаготовителями. Голые берега, развороченная тракторами-трелевочниками земля, кучи истерзанных древесных обломков и хлама встречают вас на Пикетовском, Игнатьевском ключах, у Большого Богородского переката, в районе Петропавловки, в устье Большого Тулуюла. Лес рубят прямо на берегу, будто и не существует закона о лесоохранной зоне реки. На островах у Тулуюла росло несколько могучих пихт и кедров. В

прошлом году лесозаготовители не поленились, перегнали через реку трактора и спиляли деревья. Плоскими и неприютными стали острова.

Кажется, мстит за что-то, мелко и недостойно мстит реке человек. Я разговаривал об этом с лесозаготовителями из Московки, расположенной поблизости. Ничего подобного. Кию они любят. И как раз, примерно в том самом районе, где нещадно выхлестали лес, называют участок реки Кормилицей. За то, что неплохо там берет на удочку хариус.

Для них она — Кормилица. Кто же они для нее?

— Что поделаешь? Лес государству нужен больше, чем три пуда спасенных ершей, — ответил на наш вопрос один очень дельный, уважаемый в этих местах человек, долгие годы руководивший сплавом леса. Я не могу с ним согласиться. Советскому государству, людям, живущим на берегу реки и даже вдаль от нее, нужны не только те мизерные 60 тысяч кубометров леса в год, которые заготавливает и сплавляет по Кие Московка. Может, как раз нужнее им вечная красота реки, ее чистые воды и девственные берега? И не породили ли всеми терпимое хулиганство относительно к природе эта устаревшая привычка ссылаться на целесообразность сплава? Не порождает ли эта привычка лени мысли и иждивенчества? Дескать, мы люди маленькие, нам сказали — мы делаем, а прикажут прекратить — прекратим. Тем временем нужно бы искать правильные, вполне приемлемые и народным хозяйством и населением края решения проблемы.

3. ХАРИУС СТАВИТ ЧЕТВЕРКУ

Буквально рядом с Кундатом, в 8 километрах ниже по течению, впадает в Кию речка Мокрый Берикюль. Совсем еще недавно она была такой же безжизненной, как Кундат — в нее сбрасывались отходы производства

Ново-Берикюльского золотоизвлекательного завода. В прошлом году на Мокром Берикюле ловили хариусов, некоторые рыболовы даже по 45—50 штук в день. Изредка попадались 600—700-граммовые «синяки», особо чуткие к чистоте воды.

Директор Берикюльского рудника Виктор Алексеевич Долматов посоветовал мне сначала побывать на первых очистных сооружениях предприятия, построенных еще в 1964 году в Комсомольске.

Отнюдь не из любви к речным плесам и перекатам, не из побуждений высоких материй начали дорогостоящее строительство практичные руководители. Почти на 9 километров раскинулся Комсомольск. Рядом с ним петляет неприхотливая речка Воскресенка. Золотоизвлекательный завод берет из нее чистую воду, а сливал мутную жижу, насыщенную скальным илом и цианидами — остатками технологического циана.

Большой рабочий поселок оставался без воды. После нескольких случаев гибели коров из Воскресенки перестали поить домашний скот. Воскресенка впадает в реку Тисулку, протекающую через районный центр. Испортили и эту речку. Теперь уже без воды оставался и Тисуль. А дальше Тисулка впадает в Серту, а та через весь район и десятки деревень уходит в Кию. Вот такую изрядную водную систему подчеркивал Комсомольский завод.

Понятно, что и местные жители, и районные власти, и санслужба, и рыбнадзор буквально не давали житья руководителям рудника. И они вынуждены были искать выход. И вскоре нашли. В стороне от Комсомольска впадает в Воскресенку Екатеринбургский ключ. Со всех сторон окружили его горы, образовав широкую емкую котловину. Вот здесь и решено было поставить плотину очистных сооружений.

Сейчас все стоки и жидкая пульпа с завода поступают по трубам сюда, в так называемое хвостохранилище. Вода теряет взвешенные твердые частицы ила, осветляется и уходит на химочистку. В специаль-

ных емкостях циан «высаживается» из воды с помощью железного купороса. Теперь воде предстоит еще раз отстояться в 16-гектарном пруду и затем вернуться в Воскресенку.

В очищенных стоках завода цианиды еще есть. Но речка свободно преодолевает их. Циан не стоек. Его остатки перемешиваются на перекатах с чистой водой, соприкасаются с воздухом и улетучиваются.

Строительство очистных сооружений обошлось руднику в 150 тысяч рублей. Это был первый в стране удачный опыт очистки стоков золотоизвлекательного производства. Поэтому в 1968 году на руднике состоялось совещание представителей большинства предприятий Главзолота. Здесь, на Берикульском руднике, решено было организовать школу передового опыта по очистке промышленных сбросов.

Не знаю, окрыленные ли, подстегнутые ли успехом, но вскоре руководители рудника взялись и за второй — Ново-Берикульский золотоизвлекательный завод. Активно помогал им бывший директор рудника, а ныне руководитель всесоюзного института Гипрозолото Михаил Павлович Журавлев.

На строительство Ново-Берикульских очистных сооружений решено было не скупиться, затратить 540 тысяч рублей. В отличие от первого варианта, новый проект предусматривал замкнутый цикл использования технологической воды без сброса ее в реку.

Секретарь парткома рудника Николай Савельевич Дроздов и директор золотоизвлекательного завода Михаил Петрович Ботмоев называли десятки имен инженеров и рядовых рабочих, считавших строительство очистных благородным и почетным для себя делом. Это и главный механик рудника, изобретатель и мастер на все руки Антон Павлович Бледнов, и слесарь Stanisлав Петрович Михалицин, и плотники братья Сальвассеры, и прораб Георгий Джалагония...

Контроль за качеством очистки сбросов

не снят и по сей день, хотя очистные построены и сданы с хорошей оценкой еще в мае прошлого года.

Случается, приходят к директору и секретарю парткома рудника рабочие, ребята и домохозяйки, побывавшие ненадолго у хвостохранилища. Докладывают, что почему-то вода сегодня идет грязная. Не для того, дескать, строили сооружение. И руководители вызывают технолога очистных или едут разбираться на место сами...

Мне показывали сложные действующие схемы очистки сбросов. В многочисленных больших и малых емкостях вода освобождается от взвешенных частиц, цианидов, мышьяка, нефтепродуктов, родонидов (букета примесей свинца, сурьмы, цинка). Свободный хлор и медный купорос превращают все эти вещества в твердый безвредный осадок. Но дежурные реагентщики внимательно следят и за дозировкой хлора — нельзя допустить, чтобы он, сделав добрую услугу, начал поглощать из воды кислород.

Вдоль поселка Новый Берикуль на высоких подставках тянется трубопровод. Вода по нему идет в отстойник с площадью в 120 тысяч квадратных метров. Он наполнится примерно через год. И тогда завод начнет работать на этой очищенной и отстоявшейся воде по замкнутому кольцу. Время от времени из реки будут пополняться лишь очень незначительные потери воды от испарения. А сливаться в реку не будет ни капли.

Я разговаривал с рыбаками-харьюзятниками. Они очень довольны тем, что всем коллективом возродили реку. И что великодушная привередливая в смысле чистоты воды рыба — хариус — поставила им на верняка твердую четверку...

4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СПРОС

Несколько лет назад в Марининске состоялся показательный судебный процесс. На скамье подсудимых сидел не какой-либо

мелкий правонарушитель или бестолковый злоумышленник. Закон и общественность обвиняли солидного хозяйственника, respectable, высокообразованного инженера, директора спиртзавода В. В. Альмана.

Предприятие выбросило залпом в реку чрезмерное количество промышленных отходов. Свидетели рассказывали, что враз побелела Кия от несметного количества всплывшей отравленной рыбы.

Как еще бывает иногда, В. В. Альман, уплатив по суду солидный штраф, вскоре был переведен в Новосибирск с повышением в должности. И все-таки процесс об отравлении реки не прошел для людей даром. Мариинский спиртзавод в последние годы, значительно расширив производство, превратился в крупнейший по отрасли комбинат. Его руководители, инженеры, рабочие, совершенствуя производство, думали о чистоте Кии, на высоком берегу которой расположились предприятие и его рабочий поселок.

Производство спирта дает огромное количество отхода — жидкой барды, которая когда-то целиком сливалась в реку. Руководители, инженерно-технические работники, рационализаторы завода поставили перед собой задачу — получить из нее все, что возможно с помощью современных машин и технологических процессов.

Первым побочным продуктом, полученным параллельно со спиртом, была углекислота, необходимая для общественного питания. Сотни городов и районов Сибири, Севера, Дальнего Востока и даже некоторые зарубежные страны стали потребителями этой ценной продукции. Затем на территории комбината вырос крупнейший в стране цех кормового биоминина. А совсем недавно вступил в строй комплекс производства кормовых дрожжей.

Выпуском витаминных препаратов комбинат оказал неоценимую услугу сельскому хозяйству Сибири и Дальнего Востока. Извлекая из промышленных сбросов дорогостоящие продукты, предприятие резко снизило себестоимость основной продукции,

повысило прибыль, улучшило собственные экономические показатели.

Но производства без отходов не бывает. Куда же идут остающиеся после всех этапов переработки тысячи кубометров барды? В траншеи-емкости крупной свиноматочной фермы совхоза «Авангард», расположенной рядом с территорией комбината. В огромные резервуары бардоразборника, откуда сотнями автомашин и железнодорожных цистерн барда развозится в совхозы и колхозы четырех прилегающих районов. Барде этой на комбинате грош цена. Но многие миллионы грошей, получаемых ежегодно из совхозов и колхозов, с лихвой покрывают затраты на строительство и содержание бардоразборной системы, составляют значительную долю прибыли предприятия.

Председатель Мариинского горисполкома Николай Степанович Примак считает и этот разумный метод использования отходов производства недостаточно экономичным. Автотранспорт не всегда обеспечивает регулярную доставку барды на животноводческие фермы. Отсюда нарушения рационов кормления скота, колебания в надоях и привесах. Кроме этого, барда вообще не дает заметного эффекта в молочном производстве. По мнению специалистов, наиболее применима она на откорме мясного молодняка крупного рогатого скота.

Институт «Алтайгазпросельстрой» проектирует в 4—5 километрах от спирткомбината строительство крупного откормочного комплекса на 10 тысяч телят. Все отходы спиртового производства пойдут сюда по трубопроводам прямо из цехов. На этом корме молодняк, поступающий из хозяйств прилегающих районов, будет выращиваться до 350—400 килограммов и передаваться на расположенный рядом мясокомбинат.

Со спирткомбината в городе спрос особый. Был случай, когда вышли из строя две нитки канализационного коллектора. Руководителей спирткомбината и передвижной мехколонны немедленно вызвали на чрезвычайную противозидемическую ко-

миссию. В кратчайший срок строители и производственники устранили аварию и доложили об этом санврачам.

Безусловно, есть еще претензии к предприятию и у санитарной службы, и у работников рыбнадзора. Спирткомбинат медленно и плохо строит шлаковый отстойник, крайне необходимый для сохранения рыбных запасов реки. На многие километры разносит Кия легкие крупинки шлака, выбрасываемого предприятием. Острые, как стекло, они губят рыбу, попадая ей в жабры.

В Кемеровском участке Обь-Иртышской бассейновой инспекции мне говорили, что с пуском шлакоотстойника спирткомбинат, как и Берикүльский рудник, можно будет внести в список благополучных предприятий...

Если бы со всех одинаково был такой же чрезвычайный спрос в Марининске!

Председатель районного общества охраны природы Василий Семенович Попов рассказывал о результатах рейда общественности и журналистов местной газеты «Вперед» по предприятиям города.

Рядом с бездействующими, сухими трубами сброса спирткомбината тонкой ядовитой струйкой текли в реку отходы бани и цеха крашения комбината бытового обслуживания. Мощным мыльно-мазугным притоком вливался в Кию так называемый «голубой дунай», проходящий грязной канавой через весь железнодорожный узел. Словно выхваляясь друг перед другом, валили в речку всякую нечисть прочие мелкие бытовые и коммунальные предприятия. В горисполкоме объяснили, что все это от расхлябанности и безответственности некоторых руководителей. Комбинатам бытового обслуживания и коммунальных предприятий, например, не раз предлагали подключить цеха к системе городских очистных сооружений. Даже обязанности распределили: бытовики достают трубы, коммунальщики их укладывают. Первые постарались — достали все необходимое, а вторые просто махнули на затею рукой.

Хмуро, неприятливо встретил журналистов и общественников начальник депо М. А. Поморцев. Сначала чуть было не выставил за дверь («сами ничего не делаете и другим работать не даете»), затем безапелляционно отрезал: «Я к канализации никакого отношения не имею».

— Вы, товарищи, попали не по адресу, — обескуражил рейдовую бригаду и начальник станции С. П. Петрусев.

Лишь в горисполкоме немного позднее мне удалось все-таки выяснить, что Поморцев и Петрусев имеют, вернее должны иметь к канализации, к проблеме сохранения чистоты реки самое прямое, непосредственное отношение. Уже закончен проект очистных сооружений станции, отпущены средства. Никто иной, как они лично, Поморцев и Петрусев, обязаны практически руководить делом, не надеясь, что зловонный «голубой дунай», текущий у них под окнами, обезвредят и упрячут в трубы их третьестепенные заместители или руководящие силы из управления дороги. Ведь на процессе, о котором шла речь, судили не третьего заместителя или вышестоящего начальника, а самого директора завода.

Работу свою рейдовая бригада заканчивала на очистных сооружениях вновь организованного в городе управления «Водоканал». Сюда поступают промышленные стоки мясокомбината, воды, очищенные от взвешенных частиц в локальных очистных сооружениях спирткомбината, с некоторых других предприятий города.

Главный инженер управления, специалист с высшим образованием Л. Ф. Калашникова показала обширное, дорогостоящее хозяйство организации.

— Хлоратарная не работает. Нет воды, — сразу же предупредила она.

Не действовала в этот день и биологическая очистка — вышел из строя мотор.

— Как же вы очищаете? Как хлорируете? — недоуменно спросили инженера.

И Калашникова простодушно повела бригаду по мокрым сугробам к стоку. По ее словам, туда ежечасно ходит лаборант,

чтобы взять воду сброса на анализ. В действительности здесь и давнего человеческого следа не было.

На сточном колодце лежал баллон, из которого время от времени в воду подливают жидкий хлор. Вот и все. Никаких анализов и дозировок, никаких забот и волнений, ни к чему миллионные сооружения.

А затем Калашникова предъявила рейдовой бригаде вполне благополучные лабораторные анализы.

Позднее я разговаривал об этом злостном очковитрательстве с главным врачом городской санэпидстанции, с председателем горисполкома, с начальником областного управления «Водоканал» А. Г. Медведевым.

Удивительное дело: с городского «Водоканала» и его начальника В. М. Лузина, несколько лет подряд грубо нарушающего режим очистки, спроса никакого.

Был случай, когда очистные сооружения сбросили отходы мясокомбината в ближайшее большое живописное Духановское озеро. Инспекция рыбоохраны предъявила через суд руководителям управления «Водоканал» счет в 2 тысячи рублей. Но... не получила ничего — работников очистных сооружений оправдали.

В другой раз целая бригада во главе с участковым инспектором рыбоохраны Михаилом Лаврентьевичем Нестеровым обнаружила, что работники очистных сооружений спускают неочищенные сбросы мясокомбината через обходной аварийный трубопровод прямо в реку. А в сложных сооружениях очистки гоняют для показа чистую воду. Снова — протокол, и снова — прощение, в связи с наступающим праздником.

Но дело это, как говорят, прошлое. Тогда, более года назад, искренне удивился результатам рейдовой проверки работы подведомственной ему организации начальник областного управления «Водоканал» А. Г. Медведев. А он-то считал, что Мариинское управление работает нормально! Видимо, убедили его в этом липовые анализы, ко-

торые были предъявлены и рейдовой бригаде. По всей вероятности, так и пребывает с тех пор в блаженном неведении областной руководитель. Потому что и год спустя сооружения в Мариинске работали по-прежнему безобразно, очищая сбросы примерно лишь на одну треть. По-прежнему не было постоянного контроля за работой очистных сооружений со стороны городской санэпидстанции, хотя руководители санитарной службы области обещали и устно и письменно навести должный порядок...

Председатель Мариинского горисполкома Н. С. Примак подробно рассказывал о планах охраны вод Кии. Хороши планы! Предвидится, например, строительство второй и третьей очередей очистных сооружений. Но и чрезвычайно трудные планы. Две маломощные строительные организации, расположенные в Мариинске, в состоянии освоить лишь половину средств, выделенных городу, совхозам и лесному хозяйству района на пятилетие.

О необходимости увеличения мощности строительных организаций Мариинска обнадеживающе говорят в облплане, в тресте Юргaproмстрой. Практически же дело пока не решается никак. И в какой-то мере можно понять руководителей города, когда, долго сверстывая планы строительства на год, они, скрепя сердце, отдают в конце концов предпочтение культурно-бытовым объектам и жилью: город стареет, а Кия пока еще продержится...

5. ПОТЕРЯННЫЙ РОДНИК

Главный лесничий Тисульского района Николай Федорович Шабулдаев рассказывает мне о таежных массивах, заповедных кедровниках, молодых лесопосадках в степной зоне совхозов и колхозов. Лес он считает главным целителем природы.

— Приходилось вам наблюдать лесные родники? Бежит, журчит, а где — не видно. Развернешь травку и мох, тут как тут

родничок-струйка. Через десяток шагов найдет и соединится с другим таким же. Потом еще несколько сольются в ручей, а тот побежит в речку. Так вот, на вырубках родников нету. Я специально замечал их в нетронutom лесу и потом искал после окончания лесозаготовок. Не держит голая земля воду. Отчасти потому, что нет уже над ней тени деревьев и, главным образом, из-за отсутствия корневой системы, которая, переплетая каждый сантиметр почвы, не давала уйти воде вглубь. Срубили дерево — умерли корни. Вода беспрепятственно проваливается вглубь и без пользы для земли соединяется там с рекой, способствуя возникновению разрушительного, кратковременного паводка после дождей и такого же стремительного обмеления реки в сухое время...

Но это вовсе не значит, что рубку леса следует прекратить. Только на территории крупнейшего в области Тисульского лесничества ежегодно без ущерба лесному хозяйству и природе края можно заготавливать более миллиона кубометров древесины. Три лесопункта осваивают лишь 360—370 тысяч кубометров. Из них 350 тысяч кубометров — хвойных пород и лишь 10—15 тысяч из 513 по расчету лиственных — березы и осины.

После условносплошной рубки, которую ведут леспромхозы, выбирая хвойный лес, береза и осина, не принимаемые в сплав, остаются на корню. Постепенно без хвойных соседей, обладающих сильными санитарными свойствами, деревья загнивают, вырубки превращаются в топкие болота. Лесовосстановителям сюда войти нет никакой возможности, никаких работ по сохранению подроста и восстановлению лесов, как правило, не ведут и лесорубы. Так постепенно хвойные леса уничтожаются, если и не навсегда, то на очень продолжительное время, на века.

Главным, злейшим врагом, исчадием всех бед леса, рек рангом от ручья до Кии, всей природы таежного края Шабулдаев считает сплав. По его мнению, сплав надо

прекращать и чем быстрее, тем лучше. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у сплавщиков, выдвигающих как самозащиту один единственный аргумент — до примитивности простая организация работ и сравнительно небольшие затраты на строительство дорог.

В самом деле. Навалили за лето в долине ручья или речки деревьев, сложили в штабеля. А весной, в разлив, столкнули в воду, и пусть себе плывут. Задержатся — можно углубить бульдозером дно, перепахать и обвалить берега, соорудив временную плотину, а затем, когда вода наберется, прорвать ее, пропустить лес и вновь перепрудить речку дальше. В случае затора бревен в ход пускается динамит. В итоге этого варварства очень быстро гибнет река. Лишенная водоохранной зоны леса (его вырубili), она в 3—4 раза быстрее, чем раньше, мелеет в весенний паводок. Именно сюда, в мелкие студеные реки, именно в весенний разлив, когда гудят бульдозеры и гремят взрывы, должны идти на икромет таймень, хариус, ленок.

Немало прекрасных рек превратили сплавщики в верховьях Кии в жалкие мутные ручьи, непригодные теперь даже и для проплава древесины. И вполне понятно, почему год от года все меньше становится в реке и ее притоках великолепной лососевой рыбы.

Здесь уже говорилось, что лес вырубается и на берегах Кии. Лесхозу зачастую бывает просто не под силу уберечь от уничтожения 500-метровую водоохранную полосу. В случае отказа от сплава ее охранять не потребуется никому. Ведь Кию и притоки окружают горы. Оттого и рубят лес на берегу, что его очень легко скатить к кромке воды, а затем сбросить в сплав. Но едва ли найдешь простака, который согласился бы целый километр тащить деревья, срубленные на берегу, в гору с подъемом до 45—50 градусов. Не поднимет в гору с берега древесину и, пусть самый мощный, автолесовоз...

Но Шабулдаев — враг сплава по долгу

службы. Поэтому я встретился в Тисуле, Тяжине, Мариинске, Кемерове с десятками людей беспристрастных и людей в конечном итоге заинтересованных в сохранении сплава по крайней мере еще на 10—15 лет. Очень немногие из них встретили меня уже набившим оскомину предостережением так называемых деловых людей: не беритесь, дескать, за сложную народнохозяйственную проблему с позиций человека, забрасывающего в реку удочку. Большинство партийных, хозяйственных руководителей, специалистов лесного хозяйства так или иначе высказались... против сплава. Проблему экономики лесозаготовок и сохранения природы края они рассматривали не с точки зрения отдельно взятого дровосека, срубающего конкретную осину, а значительно шире, основательнее и человечней.

Первый секретарь Тисульского райкома КПСС Дмитрий Степанович Шишкин считает, что уже в ближайшие год-два необходимо объединить два лесопункта — Урюпинский и Кийский, действующие на территории района, и, присоединив к ним Кундатский лесной массив, организовать крупный высокомеханизированный леспромхоз с годовым объемом заготовок в 320—330 тысяч кубометров. Вся древесина из бассейна Кии и притоков будет доставляться автолесовозами на механизированный нижний склад Урюпинского лесопункта, расположенный на Кия-Шалтырской железнодорожной ветке, выходящей к линии Абакан—Ачинск. Здесь же, кстати, уже начинается строительство еще одной железнодорожной линии.

Уже 7—8 лет не ведет сплав на реке Урюп Урюпинский лесопункт Тяжинского леспромхоза. Чище, полноводней становится некогда почти вовсе загубленная река — вдвое меньший двойник Кии, также впадающая в Чулым. Главный охотовед Тисульского госпромхоза Виктор Константинович Чалышев рассказывал мне, что у Полуторника, Солдаткина, Камень-Садата появилось много тайменя и ускуча, а в притоке Урюпа — Киргусуюле — вновь, как

и в старые годы, ловится отличный хариус.

Мало этого. Отказ от сплава в корне изменил и экономику предприятия. На лесосеках здесь сейчас работают механизированные малокомплексные бригады, производительность которых примерно в полтора раза выше, чем у бригад, готовящих лес на сплав. Погрузкой лесовозов в тайге заняты специальные мощные челюстные агрегаты П-2. Полностью механизирована разделка, штабелевка и погрузка в вагоны на нижнем складе.

Заместитель директора Тяжинского леспромхоза Алексей Константинович Винников и главный инженер предприятия Олег Иванович Тополя коротко сформулировали преимущества, которые дает отказ от сплава.

1. Возможность полной механизации работ на лесосеке и нижнем складе. Повышение производительности труда на 30 процентов.

2. Увеличение срока службы техники на 30—40 процентов.

3. Внедрение сплошной рубки леса, повышающей за счет лиственных пород (непригодных для сплава) объемы лесозаготовок на 30—40 процентов.

4. Переработка всех отходов на месте (в Урюпинском ЛЗП имеются шпалорезный завод, цех по производству хвойной витаминной муки, пихтоваренная установка, строится цех заготовки щепы для целлюлозной промышленности). Повышение выхода деловой древесины на 10—15 процентов. При сплаве утилизация отходов исключается.

5. Полное исключение потерь леса при сплаве (на Кие плановые потери и так называемый утоп составляют ежегодно 3—6 тысяч кубометров).

6. Железная или шоссейная дорога, связывающая таежный поселок с райцентром и городом, улучшает культурно-бытовые условия жизни лесорубов.

И еще одна цифра, которую дали мне в бухгалтерии Мариинского лесопромышленного комбината. Себестоимость кубометра

леса, вывезенного из тайги автотранспортом, составила в прошлом году 13 рублей 14 копеек. Тот же кубометр, полученный с верховьев Кие сплавом, обошелся в 21 рубль 41 копейку.

Как видим, агитация против сплава весьма убедительна. И сильна не только эмоциями. Но продолжим подсчет, опять же с чисто утилитарной точки зрения. Никто не считал и едва ли когда сочтет, сколько десятков или сотен тысяч переполненных зрелой икрой нельм заходит из Оби в Кие на икромет. Каждая выметывает 300—500 тысяч икринок. Специалисты подсчитали, что средний показатель выживаемости составляет примерно 1,5 процента. Получается, что одна нельма в благоприятных условиях даст Кие, а затем Оби и стране 4—6 тысяч себе подобных. Но это теория. Пусть на практике будет 400—600 или даже 40—60, и тогда это составит богатство, никак не меньшее ценности бревен, плывущих по Кие. Это далеко не три пуда ершей!

У Мариинска реку перегораживает коренная запонь, принимающая на себя 300—320 тысяч кубометров леса.

Я спросил у начальника отдела сплава Мариинского ЛПК В. Ф. Минина, пройдет нельма в верховья или нет.

— Едва ли, — пожал плечами Виктор Федорович.

Сплавщики перекрывают реку не до самого дна. Теоретически проход рыбе обеспечен. Кроме того, уже в середине лета вдоль всей массы леса по фарватеру проделывается узкий коридор. Но нельма идет по верху, а не в глубине, и боится шума, который как раз в начале осени, во время преднерестового хода рыбы, достигает на запони своей наивысшей точки — сплавщики форсируют выгрузку леса из воды...

И еще об одной очень немаловажной ценности — о тисульских кедровых массивах, жизнь которых непосредственно связана с благополучием рек, речек и ручейков.

До 500 тонн кедрового ореха, сотни шкурок соболя, тонны целебных трав и корней

добывает здесь Тисульский леспромпхоз.

Кедровый орех — хлеб тайги. В кедровники приходят белка, соболь. До 50 соболей за сезон каждый должны добывать по плану многие десятки охотников тисульской тайги. Нет необходимости доказывать, что тысячи соболиных шкурок в год — это тоже немалая ценность.

Год назад за Натальевкой под Кожухом закончила работу Западно-Сибирская проектно-изыскательская экспедиция Главохоты РСФСР. Я разговаривал с экономистом партии Галиной Петровной Царевой. По ее мнению, обследованная местность вполне подходяща для мараловодческого заповедника. Здесь предполагается построить ферму, в которой со временем можно будет собрать из окрестной тайги до тысячи маралов, наладить производство ценнейшего лечебного препарата из пантов животных.

Одна беда: угождая и кормовую базу будущего заповедника уничтожает основной поставщик сплава на Кие — Кожуховский леспромпхоз...

Главный лесничий Тисульского района Николай Федорович Шабулдаев, а затем и начальник производственного отдела комбината Кемероволес Евгений Михайлович Игонин говорили мне, что нет никакой беды в интенсификации лесозаготовок на юге Тисульского района. Наоборот, для лесов это благо, если подойти к делу с умом. Ведь некоторые участки тайги уже перестояли и не дают развиваться молодому подросту. Кое-где настоятельно требуется расчищать под посадки осиновою «дурнину», а где-то вообще запретить заготовки.

В комбинате Кемероволес точка зрения секретаря Тисульского райкома партии Д. С. Шишкина разделяется полностью. Объединение Урюпинского, Кийского и Кундатского участков в один леспромпхоз — дело по существу решенное. Это значит, что на всей реке Большой Тулуял полностью и на 80 километров вниз по Кие сплав будет прекращен.

Из 548 километров реки под сплавом остается еще 110. Кожуховский леспромпхоз

сплавляет здесь ежегодно до 250 тысяч кубометров леса.

Как избавить реку еще и от этой беды?

Мы долго изучали с Шабудаемым карту лесопользования. Казанский лесопункт, вывозящий древесину автотранспортом в Мариинск, рубит лес в 112-м квартале. А лесосеки Кожуховского леспромхоза находятся в 142-м квартале, примерно в 10—12 километрах.

— Вот, пожалуйста, сухой автомобильный путь на Мариинск, — прочертил по карте линию лесничий.

Евгений Михайлович Игонин вручил мне два объемистых тома «Генеральной схемы комплексного развития лесной промышленности Кемеровской области», разработанной государственным институтом Сибгипролеспром в 1969 году. По этой схеме Кожуховский леспромхоз должен вывозить древесину автотранспортом на железнодорожную станцию Барзас.

Руководители Кожуховского леспромхоза поставили под сомнение оба варианта: далеко и дорого.

Если сравнить с мариинской вывозкой (13 рублей 14 копеек), они, безусловно, правы. Но дороже ли сплава (21 рубль 41 копейка) — товарищи сказать не могут, потому что не считали и не задумывались.

По мнению специалистов леспромхоза, игра с отказом от сплава вообще не стоит свеч. Запасов остается всего 2,5 миллиона кубометров. Это — на 10—12 лет работы. В случае же предполагаемого в 1975 году запрещения сплава, лес будет легче бросить, чем вывезти. Хотя, кто знает, если поискать, посчитать как следует, выход, возможно, найдется. А легче всего: как можно больше вырубить и сплавить до запрета...

— Беда в том, что практически вопросы перспективного развития лесозаготовок на юге Тисульского района пока не решаются, — говорил Е. М. Игонин. — А именно здесь сосредоточены основные запасы леса нашей области, и налаживать производство мы обязаны грамотно и культурно во всех отношениях.

И тут делается логический вывод: виновато министерство, не дающее соответствующей команды и необходимых средств. В какой-то мере руководители лесного хозяйства района и области, видимо, правы. Но вот вопрос: что им конкретно надо? Скажем, для организации укрупненного Урюпинского леспромхоза, для быстрейшего окончания сплава на Кие? Об этом ни в комбинате, ни в леспромхозах речи еще не вели. О сплаве комбинат проводит по одному-два совещания ежегодно. О его прекращении не провел ни разу за все свое существование.

Разговаривая с работниками лесного хозяйства, я несколько раз слышал намеки, что не впервой, дескать, грозят запрещением сплава. Но лес стране нужен. Упадём, как уже не раз бывало, кому следует в ноги, авось продлят еще на несколько лет. Уверенность эта и порождает инертность, мешающую начинать важное, неотложное дело.

6. ДОМИК НА КРУТОЯРЕ

Не вот-то найдешь эту избушку, если не знаешь узенькой тропинки вдоль Берикюля.

Усталый, продрогший, бредешь по следу в глубь тайги, осторожно форсируешь узкий плес с крутыми глинистыми берегами, петляешь под фиолетово-зелеными пирамидами пихт, продираешься сквозь заросли ивняка и черемушника. И вдруг — поляна, просторная и светлая в закатном мареве. Смирненными великанами стоят на краю обрывистого берега Кии темные узловатые тополя. Посредине поляны — стог сена, а за ним, на самом бугре, удивительно веселое, добротное сооружение с маленьким розовым окошком и крутой крышей.

И словно не было усталости. Как всегда, в подпечке сухая береста, за наличником коробок спичек, на столе пачка соли и осьмушка махорки. Ночевали, видно, люди недавно, знающие берчикульские порядки.

Избушку эту срубил лет десять назад старый рыбак из Тажной Михайловки. Долго перед этим бродил по берегам Кии — искал место, радостное рыболову и охотнику и недоступное дурному глазу шкодливо-го проходимца.

Говорят, хорошо работалось старику на Пещерской поляне. Потому такой приглядной и веселой вышла у него избушка.

А перед смертью попросил старый рыбак сына привезти его сюда на лодке.

— Смотри, парень, чтобы всегда открыто было жильё рыбакам. Пилу привези, топор и еще чего самого нужного в тайге.

Как-то позарился один жуликоватый городской парень — увез из избушки острый тяжелый топор. Нашли его в Марининске рыболовы. Привезли на Берикуль, заставили положить топор на место...

Сколько таких избушек на Кие от Золотого Рога, у самого истока реки, до Чулыма — не перечесать... Строят их чудаковатые старые рыболовы, давно заработавшие на производстве пенсию. Садят рядом картошку, лук, укроп. Устраиваются до самой глубокой осени.

Каких, бывало, историй не наслушаешься, ночуя у Горбунова, Гулина, Анисима Ивановича, дяди Толи Алексеевского...

Все знает, все видит старый рыбак на десяти километрах вниз и вверх по реке. Поостережется ненасытный браконьер бросить в реку банку динамита или завести стометровый невод. Потому что живет на этом плесе бесплатный караульщик реки. Некоторые места на Кие так и называют: Горбуновский плес, Тырышкина курья, Алексеевский яр...

А рядом с Кией десятки великолепных озёр.

Однажды встретился я на большом, богатом рыбой озере с заступником-одиночкой. Стоя в лодке на коленях, средних лет мужчина забивал что-то в дно озера.

— Смотри только — никому. А то до зимы тросом продернут по дну — всю обедню испортят, — заговорщически подмигнул он.

Оказывается, рыболов забивал в дно ко-

лья с насаженными на них старыми косами-литовками. Косы были приварены друг к другу спинками и смогали лезвиями в разные стороны.

Говорят, что зимой зеленели от зависти браконьеры на озере, наблюдая, как таскают на мормышку крупных окуней любители-рыболовы. А они, запуская невод, несколько ночей подряд вытаскивают его разрезанным на две половины. С другой стороны, на соседнем плесе заводили — тот же результат... Берегут реку и старые, и начинающие рыболовы. Жаль, что всяк по-своему.

Одно время начали было гонять старых рыбаков с реки, отдавая предпочтение так называемым турбазам предприятий и учреждений. Дошло до того, что областное общество охотников и рыболовов передало большой и самый рыбный участок под Туйлой в аренду шахте «Березовская», расположенной в двухстах километрах от реки. Шахтеры — народ богатый. Уплатили и решили, что купили реку. Сначала по району разнесся слух, что кто-то глушит рыбу на крупнейшем озере Карабкас. Затем раздался взрыв на лучших ямах и плесах Кии буквально рядом с Туйлой. Трудно сказать, кто именно глушит рыбу. Потому что зачастили сюда многочисленные шумные компании не только из Березовского, но и из Анжеро-Судженска.

Непонятно, почему нужно отдавать реку в аренду людям, живущим в другом конце области, не знающим ее и зачастую совершенно равнодушным к ней? Старший госинспектор рыбоохраны по Кемеровской области Александр Михайлович Паненко считает, что с егеря, живущего на Кие и получающего зарплату в Березовском, толку для реки не будет никакого. Он больше будет заботиться о том, как бы запастись топливом, встретить гостей с шахты, обеспечить их ухой, приготовить место охоты. Одним словом, это не егерь, а сторож избушки для пикников. Не случайно, 45 таких егрей составили по всей области за год 42 протокола на браконьеров — по 0,93 злоу-

мысленника пришлось на каждого... Со всем другое дело, если егерь будет получать зарплату в районном обществе охотников и рыболовов. Он и подчиняться местному обществу будет — то есть заниматься делом, никому не потворствуя и не прислуживая.

Не может быть, не должна великолепная вольная река быть чьей-то вотчиной. Ее предназначение — радовать всех.

И путь на Кию никому не заказан. Очень

гостеприимные живут на ее берегах люди. Едут сюда непоседливые любители речных походов и оседлые поплавочники-аксаковцы, живут месяцами на песчаных косах люди, давно считающие Кию родной рекой, «своей Волгой».

У Кии есть враги. Но друзей у нее больше. Надежных, преданных, бескорыстных. С их помощью реке легче будет преодолеть невзгоды. И хочется верить: Кия выдержит...

Готовится к печати

«Труженица Томь»

Г. ЮРОВА

«Речку мы не выбираем, как не выбираем родителей. Она дарована нам судьбой раз и навсегда. И любим мы ее совершенно безотчетно, естественно и необходимо. Любим — как дышим. Любим, потому что живем.

Томь. Река с характером, река с трудной и богатой биографией, река с большими заслугами и с важными проблемами.

Без этой реки Кузбасс немислим.

Томь утоляет жажду городов, поселков и промышленных предприятий.

Томь принимает громадное количество использованных нами вод и восстанавливает их жизненные функции.

Томь — важное условие развития сельского хозяйства.

Томь — транспортный путь.

Томь — источник гидроэнергии.

Томь — основа рыбного хозяйства.

Томь — архитектурный стержень застройки городов и поселков.

Томь — живописное место отдыха трудящихся.

Томь воспитывает подрастающее поколение. Для детей общение с рекой определяет их будущие взаимоотношения с природой в целом.

Без этой реки Кузбасс немислим!

Томь отдала себя людям без остатка. И как это часто бывает с искренними, бескорыстными натурами, немало от людей натерпелась. Как никогда раньше, сейчас остро встал вопрос о правильном использовании водных ресурсов Томи».

О труженице нашей области — Томи, проблемах, с ней связанных, интересно, увлекательно и остро говорит поэт и журналист Геннадий Юров в своей книге. «Труженица Томь» готовится сейчас к печати в Кемеровском книжном издательстве и выйдет к читателю осенью 1973 года.



В стране священного кедра

Автобус мчал нас с севера на юг по побережью Средиземного моря. Местами дорога проходила в 10—15 метрах от кромки воды. Вдали показался большой город. Это был Триполи. А перед въездом в него перед нами предстала восхитительная земля с большими воронками, вывороченные пальмы и кипарисы. Всего несколько дней назад здесь был лагерь палестинских беженцев, полностью разрушенный израильскими святынями.

Мы прибыли в Ливан в самые напряженные дни в жизни его народа, когда израильские агрессоры усилили бандитские налеты на села и деревни страны, убивая и калеча ни в чем неповинных жителей.

Естественно, такая обстановка изменила и наши туристские маршруты. Отменена была поездка к южной границе в город Тир. Мы поехали в Сайду для осмотра руин древнего города, но на полпути, забывая о безопасности туристов, нас вернул обратный военный патруль. Каждое утро ливанцы просыпались и ждали новых сообщений о провокациях израильской военщины.

Однако, несмотря на бомбардировки и пограничные вторжения, деловая жизнь городов Ливана не останавливалась ни на минуту. С утра до ночи были открыты магазины Бейрута, Триполи и других городов, улицы их загромождены автомашинами, а по вечерам залиты морем неоновых огней реклам. Десятки банков, находившихся в столице, вершили свои финансовые тайнства. Буржуазия беспечно веселилась, заполняя по вечерам рестораны, кабаре и игорные дома. Неотразимая рука бизнеса приводит город в состояние бурного ритма жизни.

Среди 18 арабских стран Ближнего и

Среднего Востока и Средиземного моря Ливан является, пожалуй, единственной страной, непохожей на все остальные. Бывшая французская колония, Ливан получил самостоятельность в 1943 году. Через три года страну покинул последний чужеземный солдат. Французский колониализм оставил Ливану лучшее наследство, чем его английский коллега в соседних арабских странах.

Ливан к моменту получения самостоятельности имел более развитую экономику и культуру. В отличие от многих азиатских и африканских стран, получивших независимость после второй мировой войны и пошедших по некапиталистическому пути, Ливан сохранил все устои капиталистического строя, предоставив широкие возможности проникновения в экономику иностранного капитала. Около 80 иностранных банков, находящихся в Бейруте, держат в своих руках почти всю внешнюю торговлю и финансы страны. Бейрут стал третьим после Нью-Йорка и Женевы финансовым центром в мире. Ливан является огромным товарным и таможенным складом на мировых торговых путях между Западом и Востоком. Особенно возросло его значение после вывода из строя Суэцкого канала.

Наше знакомство со страной началось с ее столицы — Бейрута. Столицей Бейрут стал в 1920 году после освобождения страны от турецкого ига. Расположен он на мысу, почти прямым углом выступающем в Средиземное море. С востока Бейрут огорожен невысокими холмами. Украшением города, безусловно, является его набережная.

При строительстве столицы давно нару-



Кедр у киоска сувениров
Фото к статье — авторские

шена заповедь корана, которая запрещает строить дома выше мечети. В городе почти не встретишь 5-6-этажных домов, большинство — 10-16-этажные и выше. Сейчас строится даже 38-этажная гостиница «Холден». Все дома своеобразной архитектуры, не похожие один на другой. Окрашены они в светлые яркие тона. Улицы широкие, в основном прямые. Ну и, конечно, всюду пальмы, пальмы. Кварталы Бейрута явно европейские, в городе ничего не найдешь характерного для восточного стиля. Бейрут несомненно может претендовать на звание самого современного и красивого города Ближнего и Среднего Востока.

Впечатление наше о столице Ливана было омрачено большим количеством мусора у заборов, на газонах, в скверах. От некоторых из них исходило изрядное зловоние. Дело в том, что в те дни в городе проводилась массовая забастовка мусорщиков,

которая длилась уже долго. Частично на уборку мусора мобилизовали полицию.

Проезжая по городу, мы видели в скверах и на небольших площадях лагеря палестинских беженцев. Убогие лачуги из картона, жести и обломков дерева служили жильем. Удивительно, что на многих этих лачугах виднелись телевизионные антенны. Всего в Ливане проживает сейчас 300 тысяч палестинских беженцев, больше чем в любой другой арабской стране, исключая Иорданию (в Египте, например, живет 35, Иране — 15, Саудовской Аравии — 25, Ливии — 7 тысяч палестинцев).

Интересно, что в Бейруте, в отличие от других арабских столиц, почти не видно мотоциклов и велосипедов. Население Бейрута составляет сейчас около миллиона человек, но ни троллейбуса, ни трамвая в городе нет.

Бейрут, если можно так выразиться,—



Бейрут. Вид с моря

это огромный магазин. Все центральные улицы состоят из больших и малых магазинов и лавочек. Есть в городе и базар, типичный для всех восточных городов, с его узкими кривыми улочками, часть из которых закрыта от солнца брезентом. Товары здесь, как и на всех подобных базарах, выставлены прямо на улицах. Чего только в Бейруте не продается, хотя Ливан многое сам не производит. Здесь можно встретить товары из всех стран мира, начиная с оригинальных гонконгских сувениров и австрийских авторучек и кончая цветными японскими телевизорами и шикарными лимузинами новейших американских марок. Все это изобилие, конечно, недоступно рядовому ливанцу; покупают в основном иностранцы.

Основное занятие жителей страны — торговля и работа в сфере обслуживания туристов. Уже с малых лет ребенка приучают к торговле. Нам приходилось видеть в лавочках, да и в магазинах мальчика 7—8 лет, помогающего отцу. А вот женщины нигде не работают. Их не увидишь ни в магазине, ни в ресторане, ни в гостинице.

Их удел — домашнее хозяйство. Сильна еще традиция! Вечерами мужчины ведут праздный образ жизни, заполняя рестораны, кафе и игорные дома.

95 процентов населения страны составляют арабы, но жители Ливана арабами себя не считают, они именуют себя ливанцами. Они свысока относятся к своим собратьям — арабам из Сирии, Иордании и других арабских стран. Одеваются ливанцы по-европейски, национальную арабскую одежду — галабью — не носят и, очевидно, давно.

Промышленность в Ливане развита очень слабо. Есть пищевые, текстильные, табачные и кожевенные фабрики, а также цементный и нефтеперерабатывающий заводы. Рабочий класс Ливана очень незначителен, всего около 70 тысяч человек. Причем, большинство рабочих — сирийцы (их в Ливане 200 тысяч) и палестинские беженцы.

Сельское хозяйство также играет второстепенную роль, занимая в национальном доходе всего 18 процентов. И это в стране, плодородная земля которой дает по два

урожая в год! Своего продовольствия Ливану не хватает, поэтому основные продукты питания (пшеница в том числе) ввозятся из-за границы. На долю импорта продовольствия приходится четверть всего импорта страны. Экспорт составляет 30 процентов национального дохода. Основой экспорта являются фрукты и цитрусовые и, в первую очередь, знаменитые ливанские яблоки. Замечу, что четверть ливанской земли занята фруктовыми плантациями.

Интересно, что в стране не получило широкого распространения рыболовство, хотя почти половина ее границ омывается морем. Рыбной ловлей занимаются только одиночки частники.

Рассказывают, что якобы не так давно ливанское правительство пригласило из-за границы видных экономистов, чтобы разобраться, на какие доходы живет страна. Экономисты, проработав 3 месяца, уехали, заявив, что не смогли решить эту задачу. Это, конечно, анекдот. Но непонятного много.

В национальном доходе Ливана первое место занимают доходы от туризма, на втором месте поступления от ливанцев, проживающих за границей.

Немаловажное значение имеет контрабандная торговля наркотиками. Изобретательности способов перевоза наркотиков нет границ. Рассказывают, что таможенники ловили контрабандистов, пытавшихся провезти наркотики в магнитных коробках, прикрепленных снаружи к днищу корабля.

Говорят, ливанцы очень любят свою родину. Но нужно добавить, что они и очень легко с ней расстаются, уезжая за океан, даже не всегда простившись с родственниками. Около двух миллионов ливанцев проживают сейчас за границей, в основном, в Южной Америке. Только в одной Бразилии их 800 тысяч. Все наживаемые там капиталы они добросовестно переводят в ливанские банки, а скопив побольше денег, возвращаются на родину и открывают свое дело.

Своеобразие экономического строя, экзотическая природа, мягкий климат, бесценные исторические памятники привлекают в Ливан массу туристов. Ежегодно их бывает здесь до одного миллиона. Миниатюрные размеры страны (длина с севера на юг около 200 км, ширина с востока на запад от 30 до 75 км) очень удобны для поездок по стране. Море и высокие горы дают туристу возможность за один-два часа испытать зной южного солнца на пляже и прохладу снежных вершин. Зимой можно

искупаться в море и часа через два пройтись на лыжах в горах.

Много богатых туристов прибывает из западноевропейских стран, зачастую они привозят с собой свои автомашины. Мы видели, например, Бейрутский морской порт, территория которого вся заставлена личными автомашинами.

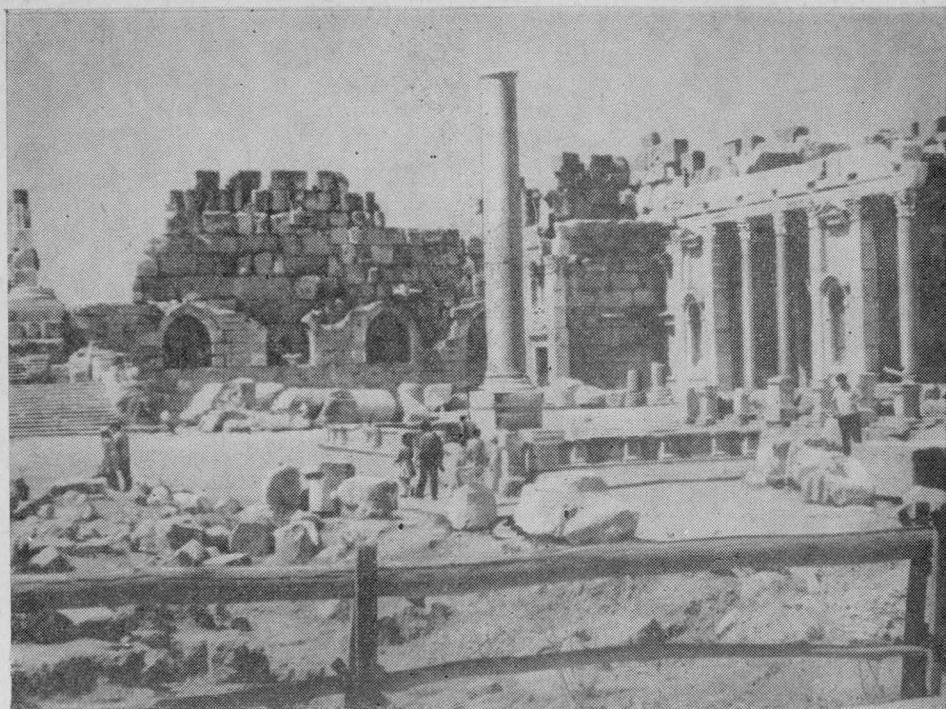
В Ливане все делается, чтобы отлично обслужить туристов. В Бейруте имеется 500 гостиниц, правда, стоимость проживания в них очень высока — от 30 фунтов в день до баснословной цены в ультрасовершенных люксах. К услугам туристов в столице более 500 ресторанов, 350 ночных игорных клубов, сотни больших и малых магазинов, десятки бензозаправочных станций.

Знакомясь с историческими памятниками страны, мы побывали в Баальбеке, где осматрели остатки древнего города с его хорошо сохранившимися величественными храмами Венеры и Бахуса. Съездили в бывший дворец Эмира в Бейтэддине, в котором сейчас половина дворца отведена под летнюю резиденцию президента страны, а во второй половине размещается музей. Мы осматрели остатки крепости самого древнего города мира Библоса, которому исполнилось уже более 7000 лет, побывали также в двухъярусной стальяктитовой пещере Дейта, находящейся всего в 18 км от столицы и открытой для обозрения совсем недавно — в 1967 году.

Очень живописная горная дорога на Баальбек. По территории Ливана с севера на юг проходят два горных хребта — Ливан и Антиливан, между которыми лежит плодородная долина Бек, засеянная южными культурами, с плантациями фруктовых деревьев. По долине протекает река Либани. На горизонте при поворотах дороги время от времени показывалась самая высокая гора Ливанского хребта Хермон (3200 м), лежащая на границе Ливана, Сирии и Израиля. По левую сторону от нас простиралась также не менее живописная долина, названная в честь французского поэта Ламартин.

На склонах и вершинах гор раскинулась масса хуторков и вилл, сверкающих на солнце яркими красками. Среди них — виллы шейхов Кувейта и Саудовской Аравии. Летом на несколько месяцев приезжают они сюда с семьями и гаремом. Картины здешней природы так прекрасны, что недаром Ливан называют Восточной Швейцарией.

Интересной была поездка в Кедры. В Ливане растет около тысячи кедров. Кедр стал символом Ливана: он изображен на госу-



Баальбек. Развалины древнего города

дарственном флаге страны, на деньгах. Изображение его можно увидеть на эмблемах различных фирм, в том числе авиационной кампании. Ливанцы считают, что кедр символизирует мощь и долголетие.

Во время пребывания в стране нам приходилось беседовать с ее жителями. Все жаловались на дороговизну жизни. А ведь Ливан среди арабских стран считается одним из самых богатых государств. Цены на основные продукты питания очень высоки. Килограмм мяса, например, стоит 8 фунтов, масла — 6 фунтов, хлеба 45—50 пиастров. Даже фрукты, которые являются основным продуктом сельскохозяйственного производства страны, стоят очень дорого: килограмм винограда в начале сезона — 3 фунта, и только к осени цена снижается до одного фунта.

Особенно высока квартирная плата. В 1972 г. она опять повышена почти на 20 процентов. Квартплата за двухкомнатную

квартиру составляет от 160 до 600 фунтов в месяц в зависимости от площади и объема коммунальных услуг. Чтобы понять величину этих цен, отмечу, что неквалифицированный рабочий получает в день 3 фунта, квалифицированный — 5 фунтов, а ставка служащих с высшим образованием 15—20 фунтов. Бесплатного обучения в стране нет. Простой прием к врачу стоит 10—15 фунтов, операция аппендицита 150 фунтов, а роды — 1500 фунтов. Правда, есть в стране и бесплатная медицинская помощь, но рядовому ливанцу добиться ее почти невозможно.

Большое влияние на все стороны жизни в стране оказывает религия. В Ливане насчитывается до 100 религиозных сект. Даже назначение на высшие государственные посты производится по религиозному признаку. Президентом страны, например, может быть избран только маронит, премьер-министром назначают только суннита, а



Бейрут. Центральная площадь

все министры должны исповедовать обязательно шиитскую веру. Такие же условия действуют и при назначении на большинство более низких государственных должностей, а также и на выборные должности.

А сколько религиозных ограничений в быту! Жениться молодые могут только одной веры, иначе их брак не зарегистрируют. Правда, сейчас молодожены научились обходить эти законы. Купив за 40 фунтов билет на самолет до Кипра, жених и невеста там регистрируются и благополучно возвращаются на родину. Дешево и законно!

Интересно, что в Ливане нет профессиональных театров — ни оперных, ни драматических. Есть только любительские коллективы самодеятельности. Вместе с тем и в столице, и в других городах много дается гастрольных концертов местных и, главным образом, зарубежных ансамблей и отдельных артистов, в том числе советских. Зато в городах очень много частных шикарных кинотеатров, щеголяющих друг перед дру-

гом богатством отделки. Идут на экранах преимущественно боевики со стрельбой, поножовщиной, насилием, убийством и бесконечными поцелуями.

Гордостью страны являются Бейрутские университеты. Их четыре: американский, французский, арабский и египетский (филиал Каирского). Американский университет самый большой, в нем обучается около 40 тысяч студентов. Обучение во всех университетах платное. Бесплатного обучения вообще в стране нет.

С древней историей Ливана мы познакомились, побывав в Бейруте в национальном музее. В Бечаре большое удовольствие нам доставил осмотр оригинальных картин ливанского поэта-художника Гебрana, умершего в 1931 году.

Туристские маршруты, конечно, очень ограничены, но и то, что нам удалось повидать в Ливане, оставило незабываемое впечатление об этой интереснейшей стране Ближнего Востока.

НЕУДАВШАЯСЯ ОХОТА



Наши деревенские осенью на уток охотиться не любят. Отчасти потому, что дел всяких уборочных невпроворот. Отчасти — молодняк жалко: доверчивый, бестолковый, дважды два весь перебить.

Утка осенью вся под одну масть, серая, как доска в заборе. Поди разберись: кто селезень, кто самочка. И хоть в эту пору никто строго не требует различать, все равно надо бы осторожнее. Лучше поменьше стрелять. Тогда самочек для весеннего расплода останется больше. И вообще осенняя охота — плевое дело. Это в тундре утка на голову садится. У нас ей с годами места все меньше и меньше. Ищи-свищи, где поохотиться, коли время деть некуда: день, два, неделю. Глядишь, и пролетел отпуск.

Вот на пролетную охотиться — другой колленкор: утка заматеревшая, немало уже повидавшая, поднатюренвшая. К ней так просто, за здорово живешь, не подберешься. А добудешь — и в руках подержать есть что и душе приятно: природу перехитрил.

Совсем иное дело весной. Селезней от самочек что слепой, что глухой отличит: вырядятся женихи на свадьбу один чище другого, расшаркиваются перед дамами, на гитарах — это у крохалей — трень-брень, на свистульках разных, трещотках, а то будто молоточком по наковаленке наяривают. Подругам их сереньким давно на гнезда пора — летят-мелькают денечки золотые, а кавалеры мешают. Есть чуела, а еще лучше подсадная — насобираешь холостеж, заодно и самочкам поможешь поскорее из-

бавиться от назойливых ухажеров. И охотиться любо-дорого: ни один пират на машине или мотоцикле не проберется в уголья, — половодье, кругом подтоплено, дороги раскисли. Весной с ружьем только истинный охотник выходит, любые невзгоды переносит. Уж он-то кого попало бить не станет.

Ну, про это, когда лучше охотиться — весной или осенью, это так, к слову. Сам-то я больше все-таки осень люблю. Кочуешь себе пешим порядком по лугам да по лесам, озерам и курейкам, по заводям и колкам, любишься пожаром, что вспыхнул однажды после крепкого морозного утреника: оранжево-желтым пламенем осин и берез, багрово-пурпурными всполохами калины и черемухи, чуть померкшей, но еще достаточно яркой зеленью прибрежных тальниковых зарослей. Лебединая песня угасающей природы? Может, и так. Только действует все это удивительно: ходится легко, видится далеко, а душа будто в песнях купается. До чего хорошо, до чего красиво и правильно все устроено в природе! Тяжкий грех шалым выстрелом расколоть на мелкие кусочки зацепеневшую тишину.

Потому и не хочется пока подбираться к табунку крякашей, что домовито трапезничают у косы по ту сторону Утятника — длинной, неширокой заводи, получившей свое название за то, что там с весны до осени водятся серые утки: кряковые, вострохвостые, чирки, свиязи. Ночь табунок, похоже, провел на недалеком пшеничном по-

ле, где и после жатвы корму хватит на все птичье царство. Теперь утки принимают ванну, попутно старательно что-то выискивая на дне: бекарасиков в тине, мелкие камешки на жернова, общипывают созревшие семена с притопленной травки. Осмотрится серенькая по сторонам, вдохнет полной грудочкой и — нырь головой вниз. А глубины — вершок. Парусом торчит хвостик над водой, забавно мелькают в воздухе оранжевые утиные лапки.

Живое жить хочет.

Как поднимаешь ружье на этакую земную благодать! Сидишь в кустах ни жив, ни мертв. Час сидишь, два сидишь, пока вдруг не очнешься: на охоту ведь пришел, снова засмеют дома, если порожняком вернешься. А еще видится костерочек, на таганке походный котелок, а в нем вперемешку с лапшой кувыркаются... Впрочем, чтобы «кувыркалось», надо прежде обежать версты две курью, потом почти столько же ползти по чистовине на животе, потому что на косе ни кустика, ни травинки. Потом уж, если подберешься незамеченным, если не смажешь, если возьмет дробь, если... Много этих самых «если», из которых и складывается на охоте удача. Все их надобно учесть, и тогда только будет что-то «кувыркаться» в котелке.

Начинается нелегкое, изнурительное состязание между чуткой, осторожной дикой природой и хитрым, коварным, упрямым человеком, в руках которого безотказная тулка, надежное, однако далеко не последнее достижение охотничьей техники.

Надо незаметно убраться с зорких утиных глаз. Птица скорее потерпит незнакомый шорох, чем малейшее движение. Чуть что, и она уже на крыле.

Потом начинается сбрасывание излишков веса: короткие и длинные перебежки, прыжки и подскоки, «сближение с противником» на четвереньках и по-пластунски. Долголетняя армейская закалка приходится как нельзя кстати. Впрочем, настоящий сибиряк и до армии умел скрадывать дичь. Не зря в войну снайперов и разведчиков набирали из сибиряков.

Пашешь носом землю. Только бы не подшуметь, только бы не выдать себя. Там уж...

И в тот момент, когда сбившийся в кучу табунок уже сидел на мушке и оставалось только нажать крючок, раздался оглушительный, потрясший все вокруг громоподобный грохот. Без того пластом вытянувшийся на галечнике, я инстинктивно еще глубже вжимаюсь в землю-матушку, вечную и неистощимую роженцу, кормилицу и хранительницу нашу.

Ружье со взведенными курками притихло рядом, табунок уток кружит в вышине, а я распластался на камнях, недоумевая, что же все-таки случилось на белом свете. В это мгновение над рекой прокатился еще один такой же оглушительный взрыв. Утки шарахнулись в сторону и со страху даже перевернулись в воздухе.

На ярко-синем, необычайно для осени чистом куполе неба медленно проявлялись серебряные нити. Куда-то вдаль, затухая, уплывал рокот реактивных моторов.

Нет, подумалось вдруг, не все в мире, оказывается, так тихо и безмятежно, коли надо куда-то спешить, оставляя позади громовые раскаты и инверсионные следы сверхзвуковых перехватчиков.

Я же снова вернулся домой без добычи.

Инна Тимошенко

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Заметки на полях трех повестей

Кемеровское книжное издательство в 1972 году выпустило под одной обложкой повести трех авторов: Валентина Махалова, Олега Павловского и Анатолия Соболева.

В последнее десятилетие повесть, как жанр, выдвинулась на первый план, наиболее конкретно отразив в себе идейно-художественные искания нашей прозы. На этом факте сходятся целый ряд видных критиков: А. Аннинский, Ю. Суровцев, И. Гринберг и другие. Они отмечают, что современная повесть остро конфликтна и драматична, раскрывает через отдельные человеческие судьбы основные тенденции нашей жизни и нашего времени.

Особое место занимает военная повесть. Тема войны остается одной из ведущих в советской литературе. То поколение, которое вступило в войну совсем юным, теперь испытывает пору зрелости, когда самое время вспомнить и осмыслить пройденное и пережитое. Отсюда идет и значительнейший биографический элемент, и ярко выраженная лиричность, что образует в своей совокупности жанр так называемой «лирической прозы» с ее свободными переходами из прошлого в настоящее, обилием лирических отступлений, раскованностью композиции.

В этом ключе и написаны те повести, о

которых пойдет речь. Время действия в них — война. Главные герои — семнадцатилетние парни. Форма авторского повествования — рассказ о прошлом из настоящего. Умудренные жизненным опытом люди воссоздают какие-то, надо думать, наиболее значительные моменты своей военной молодости и одновременно «вторгаются» в повествование с сегодняшними уже мыслями, чувствами, обобщениями.

Характерно для названных повестей звучат слова А. Соболева о своем герое: «...то давнее, бесконечно далекое, полузабытое, отодвинутое протяженностью лет, заслоненное суетой и заботами, с новой силой вошло в него... приглушенное эхо тех лет — сожаление об ушедшем, желание увидеть места, где был молод, где провел прекрасную, неповторимую пору...» — все это и заставляет обратиться к памяти сердца.

Война для всех этих героев стала тяжелой жизненной школой и одновременно началом духовной зрелости. Происходит усвоение каких-то ценностей, утверждение мировоззрения, кристаллизация характера, то есть рост и формирование личности, что само по себе драматично и интересно.

Какие же характеры созданы авторами названных повестей? Именно с этого мы хотели бы начать разговор, потому что создание характера и есть в конечном итоге

цель и вершина художественного произведения.

Главный герой, открывающий книгу повести «Высокая грива» В. Махалова, — Панька Рохмистров. Писатель предпринял попытку создать довольно определенный характер; в основе его — раннее возмужание, идейная убежденность, целеустремленность. Жизненные обстоятельства рано сделали Паньку взрослым, и он, по свидетельству автора, «как-то сразу и бесповоротно распрощался с мальчишеством». Сиротская жизнь без матери и отца, не по годам тяжелый труд, полная житейских опасностей любовь к Тоське, дочери бывшего кулака, упрямого и озлобленного Горбача, — все это делает судьбу Паньки очень драматичной. Но это еще и трагическая судьба: Панька находит в себе мужество публично разоблачить Горбача в краже колхозного зерна, и дезертировавший с фронта Горбач убивает своего врага разбойничьим выстрелом в лесу.

Даже этот краткий пересказ содержания повести говорит, что в ней заложены все потенциальные возможности для развития характера, глубокого и значительного. Но претворились ли они в действительность? Не совсем. Панька изображается писателем в основном со стороны, через внешние факты его биографии. Самое же интересное во всякой личности — мысли, чувства, психологические состояния, то есть жизнь духовная, внутренняя — оказалась вне поля зрения автора: она дается как-то вскользь, ненароком. В повести не прослеживается тот важнейший процесс, когда поступки определяются внутренним существом героя, влияя в то же время на его сознание, на его отношение к жизни и к самому себе. А без этой духовной жизни характер, в какие бы перипетии он ни помещался, неизбежно обедняется, упрощается, а значит, теряет в своей художественной значимости. Именно это произошло и с образом Паньки Рохмистрова.

Заранее предвидим возражение: зачем навязывать какую-то сложность простому

деревенскому пареньку. Паньке, которого, не мудрствуя лукаво, достаточно показать в его наиболее симпатичных делах и поступках — что мы и видим в повести? И все-таки любой персонаж художественного произведения интересен прежде всего своей духовной сущностью и, как следствие, — своими поступками. Если же следствие остается без причины, внешнее существование героя без внутреннего — характер только проигрывает.

Этим же недостатком страдает в повести и образ самого рассказчика — Васи, от лица которого ведется повествование. Василий, как и Панька (они одногодки), с началом войны стремительно взрослеет. Он становится полноправным работником в колхозе, где остались лишь двое мужчин: одирукий председатель совета да хромой кладовщик, срочно произведенный в председатели правления и мотавшийся по деревне «будто подбитый тетерев». Вся атмосфера жизни наполняется событиями, переживаниями, трагедиями, а характер героя получился в общем-то бесконфликтным. С одной стороны, Вася участвует во всех событиях повести, а с другой, — почти лишен самостоятельного действия в какой-либо внутренней эволюции. А ведь жанр лирической повести вовсе не освобождает писателя от необходимости реализовать характер рассказчика. Именно в этом убеждают нас лучшие образцы этого жанра — повести В. Астафьева, В. Лихоносова, С. Никитина, В. Белова и др.

Таким образом, в повести В. Махалова интересный и достоверный жизненный материал не отлился в достаточно емкие и художественно убедительные человеческие характеры. Слишком уж они приземлены и в какой-то степени бездуховны.

Тот же самый упрек можно высказать и герою другой повести — «Какая-то станция» А. Соболева.

Действие происходит в 1943 году. Бригада моряков-водолазов, временно командированная в небольшое село, делает тяжелую и опасную работу — подъем леса со

дна озера. Самый молодой в бригаде паренек Вася начинает здесь свои первые трудовые шаги. И здесь же приходит к нему первая в его жизни любовь.

Если в образе Паньки Рохмистрова, как отмечено выше, присутствует определенный «стержень», какое-то основание характера, то здесь характер еще не сформировался. Собственно говоря, мальчишество Васи — и в хорошем и в плохом его смысле — не переросло в какие-то взгляды, убеждения, жизненный «задор». Постоянно обигрываемые автором стеснительность, смущение Васи (он бесцельно «краснеет и бледнеет» от начала до конца повести) так и не преобразуются во что-либо более существенное. Поэтому он фактически лишен возможности действовать от самого себя — его постоянно «подталкивают» то другие персонажи, то сам автор, так что не получается никакого «самодвижения» характера. Беда заключается в том, что характер действует как бы в отрыве от обстоятельств: суровая и полная для него новизны обстановка никак, по сути, не повлияла на личность героя.

Трудовая сфера Васиной жизни оказалась для него малоблагоприятной: когда пришла его очередь спуститься под лед и выполнить там по-настоящему серьезную работу, то это вызывает в нем чувство страха: «никогда ли за что не пойдет он в воду. Хотя в штрафной батальон — не пойдет!». Наверное, его можно понять и даже не осудить (кашеварить тоже кому-то надо), но тогда естественен вопрос: все-таки в какой сфере Вася может раскрыть себя как человек, свои, пусть еще только формирующиеся, черты характера, свою личность?

Очевидно, в сфере чувства, своей первой любви, описанию которой в повести отводится значительное место. Однако и здесь Вася предстает перед нами человеком малоинтересным. Все его психологические состояния автор в основном передает смущением. Это, конечно, естественно для восемнадцатилетнего. Но ведь первое большое чувство неизмеримо богаче. И. С. Тургенев —

автор самых поэтических в русской литературе страниц о любви, вряд ли преувеличивал, когда писал в «Вешних водах»: «Первая любовь — это та же революция: единообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя — и что бы там впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь — всему она шлет свой восторженный привет».

Конечно, отношения у Васи с Тоней еще полудетские (так они изображены в повести), но разве это дает основание лишать их драматизма и подлинной поэтичности? Ведь тогда они становятся просто неинтересными, не захватывают душу читателя и воспринимаются как что-то не очень значительное, проходное. Писатель как будто боится оставить своего героя наедине с собой и своим чувством.

В эту интимнейшую сферу безапелляционно вторгаются другие — например, болтун и бабник Леха Сухаревский, и Вася воспринимает это как должное. Вот их разговоры:

«—...На abordаж не ходил?

— Чего? — не понял Вася.

— Не прижимал — говорю?

— Не-е, мы до дому дошли.

— И все?

— И все... А чего еще?

— Чего еще! — передразнил его Леха. — Хотя договорился?»

На второе свидание Вася уже идет, напутствуемый деловым советом Лехи: «Не хлопай ушами, на abordаж иди!» И преодолев свою святую простоту, все время держит в голове Лехины слова: «Ври больше, не давай опомниться... она разинет рот, а ты в этот момент — на abordаж».

Вот и верь после этого автору, когда в конце повести, изобилующей подобными разговорами, вдруг, как поэтическая кульминация, изображается такая вот сцена в духе романа о Дафнии и Хлое:

«Они не заметили, как коснулись губ друг друга».

— Ты что сделал? — спросила Тоня.

— Не знаю, — ответил Вася. Он и вправду не знал, что могло означать это случайное прикосновение губ.

Несмотря на психологические неурядицы, нам все-таки хочется верить, что герой повести испытывает большое и красивое чувство, свидетельство тому, такие, например, сцены:

«Они бежали по розовым от полуденного солнца сугробам, по голубым сочным теням от деревьев, бежали навстречу чему-то неповторимому. И не было сейчас людей счастливее их». И когда приходит час отъезда и трогательного прощания, читатель верит, что все это было по-настоящему и надолго.

...«Вася насмелился, взял в ладони холодное и мокрое лицо Тони и поцеловал. Она вздохнула, будто собираясь кинуться в воду, и замерла, широко раскрыв глаза, испуганно и тоскливо. Такой он ее и запомнил».

Но и здесь наши ожидания не оправдались: Вася ничего не сделал, чтобы вернуться к своей подруге, и этому, как и многому в повести, нет объяснения. Разве только авторский монолог на последней странице, произносимый уже сегодняшним Василием Ивановичем, проезжающим в командировку мимо станции: «Здесь, на этой станции, к нему пришла первая любовь. Где сейчас Тоня? Постарела, обросла, поди, ребятишками, а ему все видится той, давней, юной; может быть, и она его помнит тем далеким наивным пареньком, а в сердце, как и у него, осталось на всю жизнь — память о чистоте и неповторимости тех дней?». Василию Ивановичу вроде бы и не приходит мысль о том, что Тоня могла по-настоящему, по-человечески страдать, и остаться на всю жизнь без счастья, и ждать встречи с ним, с единственным. Хоть бы сошел, что ли, Василий Иванович, отсрочив билет на сутки, на той самой станции, о которой пишет, что «отсюда есть — пошла его жизнь, здесь произошло его рождение как гражданина... здесь он получил

первую закалку, отсюда он вынес главное — веру в человека, в товарища, веру в чистоту, в добро...». Выходит, зря все это сказано. Правда, писатель оговаривается, что у Василия Ивановича «защемило сердце» при виде той (а может, и не той — название-то он забыл) станции. Но это не меняет дела. Вот так вместе с вялым, аморфным характером уходит из повести подлинный драматизм и вместе с тем ослабевает и наше читательское сопереживание.

Герой повести О. Павловского «Не оглядываясь, сынок!» действует уже не в тылу, а на фронте. Надо сказать сразу, что, несмотря на те же семнадцать лет, Алексей Морозов гораздо более самостоятелен, нежели его сверстники из названных повестей. Писателю удалось изобразить две важные вещи: как входила война в сознание героя и как выковывала она характер. Сначала учебный полк, где такие же, как он, мальчишки учатся воевать. Для них это ой как нелегко — ведь они вчерашние школьники, и даже «перекур!» звучит для них подобно звонку на перемену, слово же «убит» означает не только момент военного учения, но и что-то вроде интересной игры. А позже, подъезжая к фронтовой полосе, они уже ощутили подлинный смысл этого слова: на одной из станций бомбой с «юнкерса» убит Юрка Кононов, стеснительный деревенский парень, который все сокрушался, сколько гибнет вокруг несовершенного сена; и убит он не с оружием в руках, а с котелком на пути к колодцу. И это уже настоящая война. «Глаза у Юрки открыты. Они смотрят в небо. Оттуда пришла смерть... Нет-нет, не надо плакать. Мы не девчонки. И не мальчишки уже. Мы — солдаты. Надо сжать кулаки и стиснуть зубы. Война!». На наших глазах происходит рождение науки ненависти. Первый живой «фриц» — жалкий замызганный пленный, вызывает пока еще хоть и брезгливое, но любопытство и даже сочувствие:

«— Васер хочешь?

— Я, я, васер...

— Чего же стоишь, раз-зява!..

Но вот передовая, первый бой, и потом каждодневные переходы, окопы, раны, разоренные и сожженные села — и сквозь все это — осмысление ненависти к врагу, и не просто к врагу — к фашизму. Происходит всматривание характера, осознание своей роли и своего места в войне — в тесном взаимодействии со всей страной и народом. Командир минометного расчета Морозов принимает самостоятельные решения, и не только чисто воинского, но и морального порядка. Школа войны становится школой жизни. В повести есть такая сцена. Расчет заночевал в деревне; все голодны, и вездесущий Генка Лешаков раздобывает каравай хлеба; хлеб духовито пахнет, и остается только поделить каравай на четыре части.

«— Рядовой Лешаков! — я, пожалуй, впервые так называю Генку. — Возьмите хлеб и отнесите обратно...

— Да брось, — говорит он. — Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка. Куда ей одной столько?

— Не твое дело — куда.

— Что я — для себя, да?

Мне в душе жалко Генку. Конечно, не для себя. Да и не думал он ни о чем таком, что называется мародерством.

— Н-не разговаривать! Выполняйте приказ!

— Да как я теперь заявлюсь...

Я не отвечаю Генке. Я оборачиваюсь к Григорьичу:

— Рядовой Тиунов! Проводите Лешакова».

Здесь уже отчетливо просматривается некий моральный принцип, лежащий в основу поведения. Уважаешь и ту твердость духа, которую проявил Алексей Морозов в условиях трудных военных будней, в обстановке смертей, ран, мук. Свое совершеннолетие Алексей встретил тяжелораненым в санитарном поезде. Он не совершил ничего такого, что можно было бы безоговорочно причислить к подвигу, но он к этим восемнадцати годам прошел большой путь познания жизни и вынес для себя какие-то вполне определенные духовные ценности.

При всем том и О. Павловский не избегал упрощения в изображении духовной жизни героя. Писатель предпочитает называть факты, очень коротко фиксируя отношение к ним Морозова, чего не всегда достаточно, чтобы исчерпать сложнейшую проблему: человек и война. Нельзя, кстати, не заметить, что в литературе о войне в 60—70-х годах усилилось внимание писателей не столько к событиям, сколько к внутреннему миру человека. Этим вызвана и распространенность такого художественного приема, как внутренний монолог, хорошо раскрывающий полноту мыслей и переживаний человека. О. Павловский использует внутренний монолог, к сожалению, довольно редко.

И как следствие указанного недостатка — снижение драматичности, трагизма, некоторая облегченность повествования. Здесь хотелось бы напомнить слова К. Симонова, написавшего не одну книгу о Великой Отечественной войне: «...как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно осталась для нас человеческой трагедией от своего первого до своего последнего дня, и в дни поражений, и в дни побед. Она все равно оставалась противоестественным состоянием для каждого человека, не потерявшего человеческий облик. И если забыть об этом, то правды о войне не напишешь».

Обеднение характеров за счет их духовной жизни сказалось не только на образах главных героев повестей, но и на всех остальных персонажах. На этом хотелось бы остановиться особо. Так, серьезное возражение вызывают образы колхозников села Дубовки из повести В. Махалова «Высокая грива». Выглядят они, помимо авторской воли, какими-то темными, далекими от общественных проблем, отсталыми.

Когда пришла в село весть о войне с фашистской Германией, то рассуждения дубовцев о ней звучат примерно как рассказ о султана турецком из пьесы А. Островского. Будто не в советской стране колхозники Дубовки живут, а в тридевятом царстве. «В наши места, — пишет автор, — и рань-

ше доходили слухи, что германец готовится к войне с Россией, что он для этого завоевал соседские с нами земли. Но с нами будто бы он жил в мире. И вот сейчас обманом напал на нас, даже войну не объявил, как это по международным законам полагается. Подстать и «рассуждения» колхозников: «Это как же «превосходящими»? — дернул бородкой Кирилл Важнев. — Али у немца и вправду сила больше нашей собралась?» — «Тут элемент внезапности роль сыграл», — по-ученому ответил Важневу Донат Иванович. Против такого довода Важнев возразить не мог. Он поскреб пятерней лысеющий затылок и хмуро заковылял к дому».

Собственно говоря, из повести исчезает подлинная атмосфера первых дней войны — естественное здесь чувство беды, большого, касающегося всех горя и в то же время проявление патриотического чувства советских людей. Автор повествует о том, что деревня в первый день войны запила: «по старому обычаю у нас загуливали не только от «большой радости, но и от большого горя», так что приехавшие из района уполномоченные никого не смогли добудиться, и сама местная власть — Проня Большанчиков — «напился до положения риз». Собравшееся на другой день колхозное собрание, которое, «моргая опухшими веками» и «хлебнув первача» открыл Проня, выглядит скорее как фарс, ибо не подходящий к ситуации юмор создает ощущение какого-то неуместного фиглярства. А речь идет о войне, и людям вручают повестки на фронт.

«Самой первой пришла в сельсовет Дуська Малыцева, уселась на широкий подоконник и, лузгая семечки, стала перекидываться взглядами со своим хахалем Колькой. Колька заметно важничал...

Собрание открыл Большанчиков. Напустив на себя серьезность, которая так не шла к его вялому и скомканному лицу, он оповестил людей о напряженности текущего момента...

Первой была названа фамилия Кольки Варнакова. От неожиданности Колька вы-

ронил самокрутку и сипло спросил, обращаясь ко всему собранию: — Это меня, значит, ядрена фея? — и нелепо взморгнул глазами...». Вторым вручили повестку Воркунову Дмитрию, и он сказал: «Воевать с немцами все одно доведется. Так что сегодня али завтра — один хрен».

Писатель явно упустил то важное обстоятельство, что в огромном большинстве своем люди шли воевать не потому, что «сегодня али завтра — один хрен», а потому, что осознавали умом и сердцем необходимость защиты своей Родины в трагический для нее момент. Поэтому с первых же дней войны записывались добровольцами и шли в военкоматы, не дожидаясь повесток. Мы вовсе не хотим сказать, что писатель просто неудачно выдумал все вышеописанное — возможно, именно так и было, но в данном случае хотелось бы напомнить ту трудноопровержимую истину, что художник не должен только фиксировать факт жизни, слепо ему следуя, — он должен уметь обобщать, показывая то, что в данный конкретный момент жизни наиболее типично, характерно, а не то, что случайно, единично. Без глубокого авторского осмысления событий получается «ползучий эмпиризм», в конечном итоге искажающий правду жизни и переходящий в натурализм.

Мы бы не стали напоминать об истинах, если бы приведенные выше факты были в повести В. Махалова исключением. Даже когда писатель берет некие доказанные жизнью закономерности, он и здесь зачистую скользит по поверхности факта. Например, писатель говорит об исконной доброте русского народа. Но подтверждается это тем, что «даже в самую лютую послевоенную бедность и голодуху я помню, в нашем дому, да и в других избах тоже, никогда не отказывали косоглазому дурачку Никашке, делились с ним последней картошкой, последней коркой хлеба. Выходило так, что Никашка даже в особо трудные годы жил чуть ли не сытнее всех других». Разве в этом доказательство подлинной доброты? Говоря, что «так уж повелось во

все времена в наших местах: откажи себе, но помоги слабому, немощному. К этому приравнивали нас отцы и матери, воспитывали своей бескорыстной добротой чужие люди...», следовало подумать о той истинной доброте, когда люди жертвовали последней крохой для голодающих солдатских вдов и детей, для изможденных «блокадников», для всех тех, кого обездолила война, да мало ли... и не перечислить всего. Но наиболее характерное, часто встречающееся в данном случае заменено фактом хоть и непридуманым, но случайным, не несущим в себе необходимого обобщения.

В повести Соболева «Какая-то станция» также бросается в глаза примитивизм изображения людей из народа. Здесь перед нами в основном женщины — с их неженским, самоотверженным трудом. «Всю Россию на плечах везут», — совершенно справедливо говорит о них директор совхоза. Писатель с сочувствием и знанием дела изображает героинь, но сам же зачастую бывает несправедлив к ним. И тогда получается, что работающая бойкая Фрося вдруг предстает какой-то дурковатой, глупой: «Андрей со значительным выражением лица говорил Фросе: — От водочки развязка в нервной системе происходит. Человек, он ведь царь зверей и вообще.

Фрося, потрясенная такой ученой речью, во все свои разноцветные глаза глядела на Андрея».

В образе Дарьи «выпирает» слишком уж нарочитая грубость, которая далеко не всегда оправдана художественно. Вот, к примеру, «любовный» диалог Дарьи и Лехи.

— «Выхолостить тебя, жеребчик, поменьше бы взбрыкивал.

— Ого, — оторопел Леха, — сказанула! Чего рычишь! С похмеля, что ль?

— А ты мне подносил? — Дарья зыркнула глазницами.

— О-о, высветила фарами, как студебеккер» и т. д. в таком духе. И слова, и сильный Дарьин голос (так что приехавшие водолазы спервоначалу приняли ее за старого деда-возчика), и то, как «смолит» она мах-

ру, выпуская дым через ноздри, — все это как-то необязательно и находится в разительном противоречии с той Дарьей, которую мы видим в конце повести: «она с обожанием глядела на своего суженого, «смущенно улыбалась», «зарделась от смущения», «вошла тихо и скромно» (все на одной странице).

Указанные просчеты идут, конечно, не от какой-то особой концепции характера, а просто от недостаточного умения воссоздать его — отсюда и многочисленные упущения. У А. Соболева психологическая разработка характера зачастую заменяется простой декларацией. Вдохновитель и застрельщик всех совхозных дел Клава почти лишена действия, саморазвития. Мы узнаем о ней лишь от директора: «Первое — это комиссар. Почему комиссар? Она беспартийная. Отвечая. Потому что святая она. Да! Не таращ на меня глаза. Святая. На нее бабы, как на божничку, молятся. Они из-за ее чистоты сами чистые ходят... Ежели она сейчас оплошает — коллектив весь рассыплется. А это на фронте отразится. Это дело государственной важности. Вот какая диспозиция». Немного дал автор Клаве и в ее личной жизни. Он как бы цепко держится за слова директора: «В женском деле она — кремь». А Клава, между прочим, живая женщина с судьбой сложной и драматичной. Но эту сторону автор предпочитает не трогать — он дает лишь необходимый минимум, чтобы характер как-то существовал. На последней странице повести Клава все-таки «оплошала» — прибежала проводить к поезду полюбившего ее старшину — да и то опоздала. «Святой» она осталась, да только живой не стала.

Кроме того, А. Соболев упускает одно очень важное для писателя обстоятельство: слово в литературе не должно все «доводить до конца» и все собой исчерпать — необходимо простор ассоциаций, дающих читателю возможность самому домыслить, дополнить сказанное. Стремиться договорить все во что бы то ни стало — плохо, скучно,

назойливо. Например, описывается в повести воскресник: в тяжелых условиях пурги люди расчищают дорогу, и автору хочется показать самоотверженный труд людей как боевое действие на фронте. Но решается это настолько «лобово», что необходимое впечатление не усиливается, а только ослабляется:

«...Упорство людей было сильнее выюги. Они шли, как в атаку, так те, кто окружил Корсунь-Шевченковский котел... Азарт коллективной работы, радость и восторг захватили Васю, и он старался изо всех сил. Наши на фронте побеждают, неужели они здесь не могут? Когда Васе выпадало быть «забойщиком», он чувствовал себя солдатом, поднявшимся в атаку и ведущим за собой взвод...»

— Иди погрейся! — крикнул кто-то, кажется, Фрося, и Вася пошел к костру, улыбаясь от переполнявших его чувств. «Как на фронте, — мелькнула мысль, — один за всех и все за одного». Перекурив и отогрел пальцы, Вася снова кинулся как врукопашную».

Такая навязчивость сочетается еще и с крайней бедностью психологических деталей. Например: «Из-за сопки внезапно показался поезд, и все вздрогнули, и у всех защемило сердце». Но ведь не бывает, чтобы все разом «вздрогнули» и у всех «защемило». При сходности психологических состояний выражение их, степень переживания — разные. Это азбучная истина.

Встречается и явная аффектация в изображении переживания. Когда Вася очутился в больнице, Тоня, прибежав, «с размаху упала на колени перед Васей, вобрав его всего расширенными глазами и шептала, как полоумная, белыми губами:

— Вася, Васенька...».

На всех этих деталях мы остановились столь подробно, так как убеждены, что проблема мастерства создания человеческого характера есть главная проблема для писателя, и здесь не может быть приблизительности и небрежности.

Теперь поговорим об языке книги.

Все три ее автора — не новички в литературе и поэтому владеют словом довольно уверенно. Хорошим, профессионально грамотным языком написана повесть О. Павловского. Писатель к тому же обладает даром комического, и созданные в его повести комические ситуации и даже характеры (например, солдат Александр Пушкин) нашли свое весьма точное выражение в языке.

В повести В. Махалова совсем другая языковая стихия: это язык колоритный, эмоциональный, выразительный, весь проникнутый собственно авторским чувством и оценкой изображаемого. Часто это язык лирически приподнятый, поэтический. Например: «Старики считали гриву древним берегом Елдежика. А для нас она — наша первая детская радость, наша первая земная возвышенность, с которой полными удивления и восторга глазами мы впервые увидели наш деревенский мир. Мир тот отсюда казался нам прекрасным и неповторимым, наполненным вешней свежестью и неосознанным счастьем. В нем нам предстояло жить и здороветь телом и духом, укреплять свой разум. Высокая грива научила меня доброму чувству природы и жизненной озабоченности. И пока я живу на вольном свете, пока дышу сладким воздухом земли моей, я буду благодарен ей за это».

Однако нельзя не упрекнуть В. Махалова в том, что в погоне за яркостью языка он злоупотребляет всевозможными диалектными словами сугубо «деревенского» толка. Очевидно, он исходит из убеждения, что это и есть подлинно народный язык во всей его специфике и особой прелести. Но все дело в соблюдении художественной меры. Сами по себе местные речения вовсе не есть гарантия художественности. Как раз наоборот: избыточное их употребление не столько разнообразит язык персонажей, сколько однообразит его: все говорят на один манер. Вот Кирилл Важнев: «Время-то ноне, сами глядите, вона како, жись нашу решает»; Васин отец: «Ничего, сынок,

не поделаш, придетца после скончания войны доучиватца. А пока матке помоги дом держать»; дед Мокей (явственно «работающий» под Шукаря): «Так вот, значитца, командиры, оне считают, что мужики-то своей деревней притче воюют»; Мокеиха: «У мово-то колодок еких нету. Растопчет буде»; Проня Большанчиков: «Можа, здесь, а можа, петли где делает, след заметат»; наконец, мать Василия: «Што дверь-то расхлебнил? Не лето ишло» и т. д.

По этому же принципу строится авторская речь, изобилующая словами типа «сбочь», «духмяный», «сигать», «изгаляется», «тятя», «мокреть», «хряск», «кобенились», «ранетый», «вел догляд», «пошел в заступу» и т. д. Рядом с этим писатель дает образцы речи чистой, правильной, литературной (особенно в лирических отступлениях). Получается языковая неурядица, разнотильность и впечатление того, что автор подстраивается под деревенский говор своих героев ради пушшего эффекта.

А. Соболев страдает другим недостатком — на страницах его повести частый гость штамп во всех его видах. Это и формы слов: «с грустинкой», «с золотишкой», и навязчивые присловья в речи героев: «вот какая диспозиция», «вот какой коленкор», и столь же навязчивое однообразие приемов: «а женщины уже пели о том, как вставали они ранешенько и умывались белешенько»: «а Дарья голосом звонким и высоким завела о том, что выходила на берег Катюша», «...а Клава сильным голосом запела о том, что позарастали стежки-дорожки»...

Неприятное впечатление оставляет пошловатость речи персонажей, особенно Лехи Сухаревского. Дело здесь не в самой теме его «баек», и не в самих даже его словах, а в том авторском тоне, каким все это подается.

Повесть О. Павловского «Не оглядывайся, сынок!» не содержит столь резких диссонансов, но и в ней встречаются слова тусклые, невыразительные. Особенно это проявилось почему-то в описании любви — чув-

ства, требующего для своего воссоздания наибольшего богатства и тонкости в оттенках слова. Иногда писатель употребляет слова стертые, примелькавшиеся, да еще повторяет их несколько раз, то и получается общее место, штамп. Например: «...И еще Валя пишет, что будет ждать. Очень будет ждать. Хорошо, когда тебя ждут. Как это у Симонова: «Жди меня, и я вернусь...».

И в заключение о самом жанре «лирической прозы», как он предстал в рассмотренных повестях.

Несомненны те преимущества, дополнительные средства, которые дает жанр в руки писателя: возможность вести повествование от первого лица, привлекать обширный биографический материал, свободно оперировать временем, прошлым и настоящим. Личный жизненный опыт, непосредственно введенный в произведение, впечатления детства и юности, рассуждения о жизни — все это обогащает произведение, делает его жизненный материал достоверным и конкретным.

Зримо видится изображенная в повести В. Махалова «Высокая грива» деревня конца 30-х годов: экономическое положение колхозников, кто, где и как работает; какими «рукомерами» занимается; со знанием дела рассказывает писатель о природе родного края: о лесе; торфяных болотах, бобрах, ягодах, грибах, рыбалке — и во всем сквозит личное отношение к изображаемому. Поэтому так лично, пронизованно звучат в повести самые, казалось бы, неприятные описания Высокой гривы.

«Грива вся развернута к солнцу, и весна всегда затепляет здесь первые подснежники... Мне никогда не забудутся наши ребяческие походы на Высокую гриву за пестиками. И сейчас кажется, что не ел я в детстве ничего слаще пестиков. Сочные, ядреные, с острым запахом талого снега, они так и таяли во рту...

Но больше всего маялил нас на Высокую гриву старый развесистый вяз, склоненный

над самым крутояром... Паньке первому пришла счастливая затея свить на его могучих и плотно переплетенных ветвях беседки, похожие на большие птичьи гнезда. С тех пор у каждого из нас было свое гнездо...».

Подводя итоги нашего анализа, хотелось бы пожелать писателям самого главного: чтобы их рассказ звучал бы более громко «о времени и о себе», чтобы был он более емким по содержанию и более совершенным по форме. Для этого, как нам думается, у них есть все возможности.

Литературная учеба

Бой, который не состоялся

«И вечный бой...» — так назвал свою рукопись начинающий поэт С.

Название это, заключающее в себе блоковскую мысль — «И вечный бой! Покой нам только снится...», — вселяет надежды, обязывает и устанавливает уровень разговора о стихах данного сборника и вообще о поэзии.

Первый раздел — «Память». Он посвящен детским воспоминаниям о войне и взрослым — о послевоенной службе в армии.

Открывает сборник стихотворение «Эвакуация»:

Был черный день, был ярый хрип трехтонки,
Был на перроне флаг щемяще ал...
Все смутно, но глубокие воронки
Год сорок первый в детстве оставлял.

Все смутно... Но теплушек красный пояс
Затягивал голодную страну...

Жизнь день за днем писала повесть
Про слезы, про Сибирь и про войну.

В первой строфе все привычно, уже давно читано у многих поэтов, но, по крайней

мере, не вызывает протеста по смыслу. Но вот образ второй строфы, помимо воли автора, приобрел нежелательный оттенок.

Да, война заставила советский народ «подтянуть пояса», именно она является причиной, а «теплушек красный пояс» — не причина, это лишь следствие войны. И, строя поэтический образ, не мешало подумать, кого везли эти теплушки. Иначе выходит, что автор, спутав причину со следствием, возлагает вину за голод на солдат или эвакуируемых.

Стихотворение «Сибирь», 1942 год». Мальчишки играют в войну. Снова знакомые интонации:

Летели красные тачанки,
Строчил «максим» в тупые лбы...

Ну, что ж, мальчишкам простительно по малолетству не знать многих истин. Но ведь стихи подписывает человек, уже давно покинувший берега своего детства. Он-то

должен помнить, что «тупые» лбы гитлеровцев оказались, к сожалению, для нас не столь тупыми, как писал об этом перед войной писатель Ник. Шпанов (см. его сочинение «Первый удар», Воениздат, 1939 год).

Стихи, посвященные Николаю Майорову, удивляют тем, как мало сумел автор сказать и увидеть. Концовка, на первый взгляд, энергичная:

И каждый выстрел
становился точкой.
За точной траекторией строки,—

не отражает жизненной правды. Поэт Николай Майоров воевал и погиб как строевой офицер, политрук пулеметной роты, а не как военный журналист и литератор. Любоваться «точной траекторией строки» ему в этот период удавалось редко. Поэтому эффектная концовка «не стреляет».

«Эх, яблочко!» — стихи о возвращении с победой — тоже оставляют впечатление попытки петь при отсутствии слуха. Советской поэзии известны многие отличные стихи поэтов, бывших фронтовиков, о возвращении с войны. Вспомним хотя бы «Пришедшим с войны» Михаила Луконина и другие его стихи этого цикла. Сколько в них точных деталей, ярко высвеченных образов.

А у С. в этом стихотворении — набившие оскомину общие места: «как красивы были девушки в этот год, как орлами смотрели мужчины», «светлое вино и красивая любовь» и ничего своего, открытого самим автором.

Несколько лучше — начало стихотворения «В тамбуре». Прочтя первые три строфы и начало четвертой, уже начинаешь верить поэту, но вот запел инвалид про «штыковые контратаки и про пылающий Мадрид» и становится ясно, что стихи высосаны из пальца.

Когда шла война в Испании, у нас пели испанские песни, но потом события Великой Отечественной заслонили романтику той войны. К тому же все, что касалось участия советских добровольцев в испан-

ских событиях, стало раскрываться много позже 1945 года. Поэтому инвалид, получивший свои раны на Великой Отечественной войне, пел бы о своем, пережитом.

Дальше автор цитирует песню Мих. Матусовского:

Нас оставалось только трое
На безымянной высоте...

Тут уж надо уважать автора песни и цитировать верно:

Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят...

Кстати, песня эта появилась в шестидесятых годах, хотя стихи и были написаны раньше. Но для шестидесятых уже не очень характерны инвалиды, поющие по вагонам, они были в первые послевоенные годы. В каком же году идет поезд?

Стихотворение «Кондуктор» начисто уничтожается придуманным чувством вины, которое якобы испытывает герой перед женщиной-кондуктором, чей муж тридцать лет назад не вернулся с войны.

И концовка «Винovat пред тобою очень: за мое за счастье прости!» воспринимается как неумное кокетство.

«Стоит смежить порой ресницы...», между прочим, правильное ударение «смежить», и здесь автор пишет о вещах, которых не пережил и не знает. Он пишет о гитлеровском летчике:

Вот сейчас фашист улыбнется
И нажмет спусковой крючок.

Во-первых, неестественна эта улыбка вражде — автор пишет о вещах, которых не возможно. А, во-вторых, в самолетах нет спусковых крючков, есть гашетки ствольного оружия и кнопки бомбосбрасывателя.

В стихотворении «Память» западногерманский турист, бывший пилот «Люфтваффе», сетует на то, что булыжную мостовую в городке, знакомом ему по войне, залили асфальтом. «Не-кра-си-во,— твердит он». С

высоты эту деталь запомнить немисливо. Видимо, по этой мостовой его вели в плен, но и тогда ведь ему было не до красот.

Поведение немца здесь нелогично, и автор не может свести концы с концами. То же и в «Монологе отставного фельдфебеля». «Монолог» не вызывает доверия, в первую очередь, потому, что фельдфебель — невеликая фигура в немецкой военной иерархии. По своему чину он находился ближе к солдатам и делил с ними все тяготы войны.

Даже если это был бы монолог того самого полковника, который не смог дослужиться до генерала, это было бы естественнее, ибо подобная публика могла находиться подальше от линии фронта и не успела вдоволь навоеваться.

Чуть лучше стихи, посвященные военной службе автора. Тут хоть есть кое-какие самостоятельно увиденные, пережитые поэтические детали. Но и здесь автору не удается удержаться на сколько-нибудь удовлетворительном литературном уровне:

Но валюсь при первой же попытке
С вывихнутым начисто плечом,
И сержант хохочет: «Ишь ты, прыткий!
Может, по три спробуешь еще!».

Солдат получил на работе травму, вывихнул «начисто» плечо, его начальнику — сержанту — должно быть не до шуток.

К одному из стихотворений автор взял в качестве эпиграфа известные строчки С. Гудзенко:

Быть под началом у старшин
Хотя бы преть пути.

Под этим эпиграфом расположились весьма заурадные рассуждения о том, что солдат и на гражданке остается в строю. И эпиграф «не стыкуется» со стихами, ибо читатель отбрасывает неинтересные мысли и вспоминает продолжение строчек, вынесенных в эпиграф:

Потом могу я с тех вершин
В поэзию сойти.

А в них — разговор о поэзии и месте поэта, разговор по крупному счету. Так что брать широко известные строки для эпиграфа не всегда удается безболезненно.

В русской и советской поэзии немало стихов, где поэты предположительно пишут о том, где и как они хотели бы встретить свою смерть. И в рецензируемой рукописи первый раздел заканчивается стихотворением на эту тему «И вечный бой...», давшим название сборнику. Но даже тут, казалось бы, в сугубо лирической личной теме, автор не обнаруживает творческой самостоятельности. Так серьезно и сосредоточенно умирали в своих стихах уже многие неумелые поэты.

Но вспомним, скажем, «Живых героев» М. А. Светлова или написанное полвека назад стихотворение ныне здравствующего Н. С. Тихонова «Праздничный, веселый, бесноватый...» из книги «Орда». В обоих случаях — масса поэтических находок, запоминающихся деталей, видны индивидуальности больших поэтов, ясно, к тому же, что это написано отнюдь не всерьез.

В первом разделе рукописи мы коснулись почти всех представленных в нем стихотворений. К сожалению, ни одно из них нельзя считать готовым к печати.

Второй раздел называется «Наступление продолжается». Собственно говоря, наступления никакого нет, ибо в первом разделе оно и не началось. Просто здесь стихи, собранные по неведомому принципу. Кстати, среди них — и удачные стихотворения «Хирург» и «Случилось видеть мне однажды...».

Пожалуй, в первом из них стоит подумывать над строкой: «Расширитель — бросаешь грубо». Почему так обязательно «грубо» — ведь встречаются и среди хирургов интеллигенты.

«Случилось видеть мне однажды...» — одно из немногих стихотворений, которые можно принять без замечаний. Здесь хорошо увидена позиция известного еще древнему Риму «терциус гауденс», то есть — «третьего радующегося», который хочет извлечь

выгоду из конфликта двух своих близких.

Остальные стихи раздела свидетельствуют о том, что автор еще плохо чувствует природу поэтического образа. Примеры можно найти без особых поисков:

Люди! Ладони из синей полночи
К вам простирают «скорые помощи»!

Не говоря уже о грамматической несуровости «скорые помощи» (у слова «помощь» не бывает множественного числа), образ вызывает недоверие и потому, что в жизни все как раз наоборот: люди, нуждающиеся в помощи, простирают ладони к скорой помощи.

Остывает, словно тело, глина...
Ей теперь вовек кувшином быть.

Когда остывает тело, это — смерть, а у остывшей после обжига глины только и начинается жизнь.

В стихотворении «Кармен»:

Любовь! Это двигатель вечный души!
Это великое топливо!

Вряд ли с такими банально-утилитарными рассуждениями можно рассчитывать на взаимность гордой и свободолюбивой «Кармен», к тому же еще двигаясь к ней ползком, как сказано несколькими строчками выше.

Насквозь литературен и надуман «Монолог старого матроса», никакой «свежинки» нет и в образе «Маяковского в Новокузнецке», да и «Сибирский дом» тоже построен из стандартных деталей.

Неумение строить образ мешает автору быть в своих стихах убедительным, настраивает читателя на недоверие.

Или: студентка-медичка задремала на ночном дежурстве. Все по-человечески просто и объяснимо. Но вот идет следующая строка: «Не снятся ей ракеты и полеты...».

Достаточно одной подобной неточности видения образа, и вся простота, все дове-

рие к тому, что говорит автор, пропадает.

В самом деле, почему милой девушке, которая, вероятно, по призванию и складу характера пошла не в космонавты, а в медики, обязательно должны сниться полеты и ракеты? Или в упомянутом «Сибирском доме»: «Но каждый день, как в бой пехота, здесь поднимались на работу». Столько раз это уже слышано.

Между прочим, и этот раздел заканчивается описанием собственной смерти:

Только б не уйти без боя,
И пасть лицом вперед!

Автор снова вспоминает о бое, обещанном в названии книги. Во втором разделе рукописи его тоже почти не было.

Пожалуй, только стихи, посвященные памяти известного летчика В. Мартемьянова, настраивают на боевитость, но и в них риторика решительно вытеснила поэзию. Остались одни «громкие слова», о неуместности которых говорит в этом стихотворении сам С.

В общем, и во втором разделе удач не много.

Третий раздел «Когда уходят друзья» состоит из коротких лирических стихов. Короткие стихотворения — особый жанр, в котором существенно возрастает роль каждой отдельной строки, где проверяется композиционное умение автора.

Здесь автору удалось «Рождение света», «Фокусник», «Угрюмо, но не равнодушно» и, пожалуй, «Прощание». Остальное пока — этюды, черновые наброски, из которых только должны получиться стихи. И еще одно соображение по данному разделу: большинство его стихов не поднимается выше сугубо личных заметок, не становятся общественно значимыми фактами жизни.

Поэт может, разумеется, написать и опубликовать стихи на таком материале, но он обязан из всего виденного им отобрать именно те впечатления и факты, которые будут волновать многих людей. А сами по себе рассуждения об одиночестве, об уходе

друзей и любимой женщины не создают лирических стихов.

Мы рассмотрели три раздела — большую часть объема сборника. Можно сделать некоторые промежуточные выводы.

С. владеет умением писать «гладкие» стихи, но от этого умения, порой обманывающего самолюбие, до того, что зовется поэзией, расстояние довольно велико.

Автор не чувствует природы поэтического образа, ограничиваясь более или менее удачным описательством, плохо представляет себе, что такое композиция стихотворения.

Большинство стихов раздела вызывает недоуменный вопрос: «Ну и что?», ибо контекст в стихах отсутствует.

Четвертый раздел — «Свиданье с городом» — рассказывает о встрече с Ленинградом. Думалось, что свидание с городом Ленина, с его революционными, боевыми и трудовыми традициями вызовет у автора новые стихи широкого общественного звучания, которых так мало в рецензируемой рукописи.

Однако автор прошел мимо современного Ленинграда. Лишь два коротеньких стихотворения «Эхо блокады» и «Пискаревское кладбище» посвятил он недавнему прошлому, а все остальное — не ближе пушкинского Петербурга.

Но не будем спорить. А вдруг автор нашел себя как поэт именно в стихах на исторические темы.

«Мойка, 12» — последняя квартира Пушкина:

Здесь бесприютность брошенной собаки.
И вновь стихи, стихи, стихи, стихи...

В первой строке — явный перефраз. Известно, как Пушкин любил свой дом, свою семью, поэтому столь категоричное определение — неосновательно.

Что же касается второй строки, то, к сожалению, и она существенно неточна: стихов-то как раз и не было. За последний год жизни Пушкиным написано много прозы и

мало стихов, да и те — за несколько месяцев до гибели.

Бестактно выражение «женка молодая». Пушкин называл так свою жену в интимных письмах, думается, что другим этого права не дано.

«Молчите, должники!» — вероятно, автор хотел сказать «молчите, кредиторы: ведь ваши дети Пушкина читают...».

И заключительные строки:

В конце строки
Не точка от дантесовской руки,
а залитая кровью запятая.

Последнее, что было написано Пушкиным — не стихи, а письмо писательнице А. О. Ишимовой. Поэт написал его за час до дуэли. Лихая концовка пропадает.

Непонятно, о каких «двух предсмертных пушкинских строках» идет речь во втором стихотворении, посвященном той же теме.

Вероятно, автор был введен в заблуждение тем, что в последней квартире Пушкина экспонируются его произведения петербургского периода жизни, который принято датировать 1833—1837 годами.

«Пушкино» — а под Ленинградом есть город Пушкин, бывшее Царское село.

Восточный храм, разграбленный до точки,
В сравнении с этим осень — не беда.

А осень никогда и не трактовалась как беда. Кстати, именно Пушкин очень любил осень. Вспомним хотя бы Болдинскую осень.

На медных плитах, легкие, как птицы,
Плывут, плывут фрегаты в никуда.

Почему же в «никуда». Для тех, кому не интересна русская военная история, может быть, это и так. Но ведь каждая из этих медных плит посвящена той или иной победе русского оружия. Лицеист Пушкин по этим плитам постигал славу предков.

«Тяжелого забвения волна» — на Цар-

скосельских прудах все говорит не о забвении, а наоборот — о памяти.

«Храм Спас на крови». В блистательном архитектурном ансамбле Ленинграда этот храм не считается выдающимся сооружением.

Ах, как раньше строили
на прежней, на старой петровской Руси!

Петровской Руси этот храм не мог видеть. Он заложен после того, как в марте 1881 года народоволец Гриневицкий бросил бомбу в карету царя Александра II. Царь был убит, а его преемник решил на этом месте воздвигнуть храм, который и назвали Спас на крови. Окончательно достроен он был лишь к 1907 году, то есть после первой русской революции.

И еще одно уточнение: С. упорно несколько раз утверждает, что храм стоит на берегу Мойки. Спас на крови находится до сих пор на том самом месте, где он и был построен — на канале Грибоедова, который раньше назывался Екатерининским.

В последних строчках у С. осенние листья «по Мойке плывут наугад, наугад».

Надо все-таки хоть немножко «слышать» свои стихи — сочетание слов «По Мойке» отнюдь не то, которое хотел выразить автор.

Стихи о Петропавловской крепости решительно не получились. Об этой крепости, о ее узниках написаны сотни книг, ее роль в событиях революции — общеизвестна, однако автор считает нужным предложить нам свои не очень интересные размышления о том, кто и почему все это построил. Для этого не надо читать стихов, можно взять более или менее квалифицированную книгу по истории Петербурга-Ленинграда. Там об этой крепости обязательно и подробно пишут.

Кажется, единственное, что вызвало в Ленинграде эмоции автора — это созерцание орудий пыток святой инквизиции в Казанском соборе, но и тут он не сумел от своих поверхностных наблюдений прийти к

серьезным обобщениям. А для этого достаточно было вместо того, чтобы кокетливо примерять эти орудия на самого себя, задуматься о тех, на кого они реально надевались. Тогда, наверное, не появилась бы на свет беспомощная «Исповедь Петра Великого», а стихотворение «В Кронштадте» не кончалось бы строками:

Собор молчал. Спокойно было море.
Лишь Петр российский флот на подвиг звал.

И это — о балтийцах периода Великой Степеченной войны!

Ничуть не желая умалять морские заслуги Петра, значение национальных традиций, осмелимся все же думать, что у воинов 1941—1945 годов были и другие мотивы посущественнее, звавшие их к победе.

Да, свидание с Ленинградом у автора не состоялось. Тема эта серьезная, она требовала от поэта чувства большой гражданской ответственности. С. оказался к этому не готов.

Заключительный раздел сборника «Кто с мечом к нам придет» иллюстрирует лишь приведенную в названии первую половину афоризма, якобы произнесенного Александром Невским. Вторая половина, как известно, гласила: «От меча и погибнет! На том стояла и стоять будет Русская земля!»

Вот портрет варяга, идущего покорять русскую землю, потом — монголы с татарами. А что же и кто же противостоят завоевателям? Одни звонари. Они бьют в колокола. Ханы их вешают, а они снова звонят...

Впрочем, «показана» и Куликовская битва, о ней говорится лапидарно, всего в двух строках. Прочитируем их полностью:

Хоругви — как пряди степные,
И князь обнажает свой меч —
Луч солнца встающей России, —
И стихла тревожная речь.
Лишь седел скрипучие кожи
Да к смерду прижавшийся смерд,
Да враг, с черной стенкою схожий, —
Все ждут тебя,
быстрая смерть!

Если бы настроение русских войск перед битвой было таким, как об этом пишет автор, то иго татарское проткнулось бы еще лет на триста. В том-то все и дело, что князь Дмитрий Донской, выдающийся полтик и полководец, точно уловил момент, когда ненависть народа против захватчиков достигла предела, когда созрели, а главное — объединились силы отпора. Он привел русское войско на Куликово поле с одной целью — победить.

Однако С. неизменно стоит на своей единственной позиции «добру и злу» внимать равнодушно» и в последующих стихах. В конце концов это упорно объективистская точка зрения автора лишает его работу какого бы то ни было общественного смысла для каждого, кому не просто заняты, но и дороги герои и события отечественной истории.

Особенно это заметно в стихах на библейские сюжеты «Судный день», «Иуда». Тут уже совсем невозможно определить,

теистические или атеистические позиции занимает автор, где издавать эти писания — в партийном издательстве или в журнале Московской патриархии. И, перечитав все это, нельзя поверить декларации, завершающей рукопись сборника.

Остаются стихи,
остаются —
после бунтов и революций...

Рукопись сборника «И вечный бой...» не получилась. Несколько названных выше удачных стихотворений не спасают ее. Автору следует помнить, что литература — дело серьезное и заниматься ею надо, беря на свои плечи высокое чувство ответственности.

«И вечный бой...» не состоялся. Почти не было даже и «боев местного значения» — большей частью лишь робкие действия разведки.

г. МОСКВА

Игорь РИНК

Литературная хроника

Юбилей литгруппы

В Междуреченске в марте этого года литературная группа при городской газете «Земля шахтера» отметила свой 20-летний юбилей.

Двадцать лет. Сколько прочитано первых стихов и рассказов, как

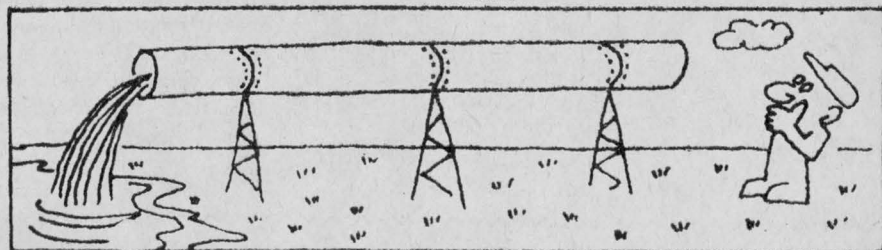
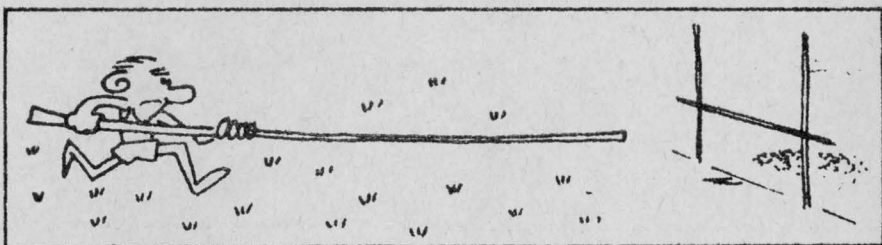
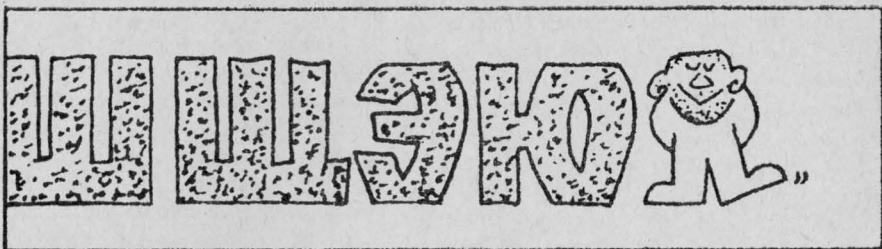
много тем затронуто в беседах.

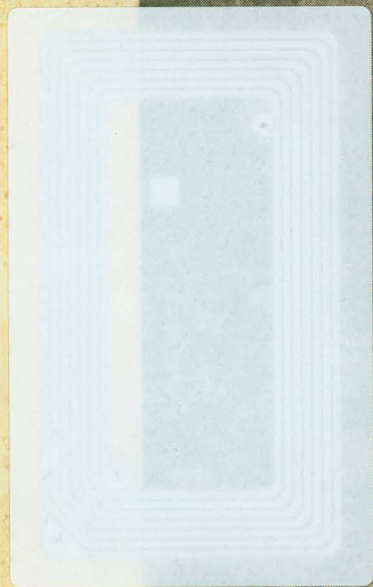
С междуреченской литгруппой в разные годы были связаны поэт и первый руководитель ее Евгений Буравлев, Софрон Тотыш, Владимир Юриш, Виктор Чугунов и многие другие.

Юбиляров тепло поздравили и пожелали успешной работы в дальнейшем организации, учереждения, любители литературы, Кемеровская писательская организация.

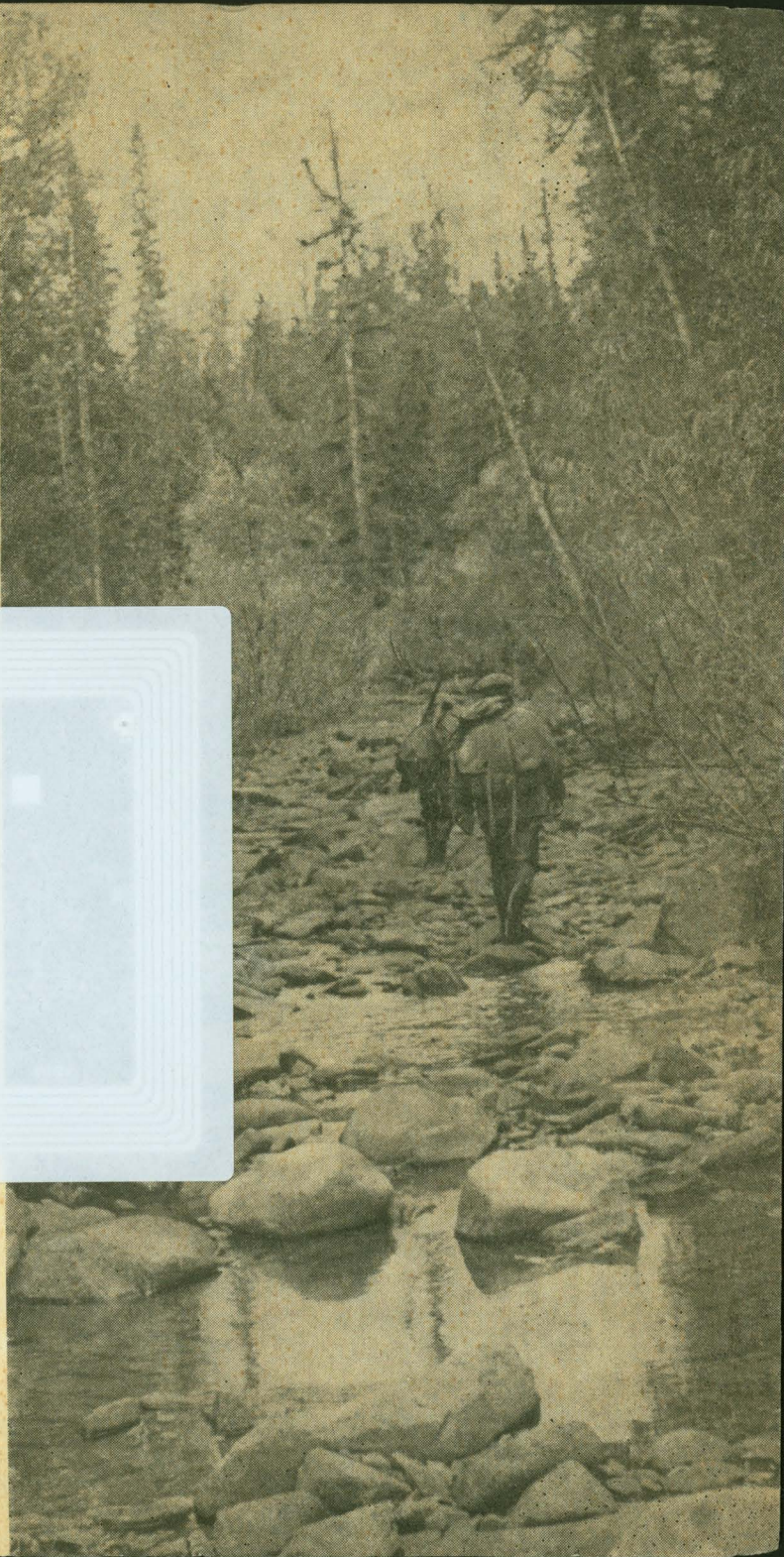
БЕЗ СЛОВ

рис. Г. Еф.
РЕМОВА





Высохшая протока
Фото Ю. Сергеева



27 коп.

ОГНИ
КУЗБАССА №2(39) 1973